

Иван Александрович Ильин
Религиозный смысл философии
И. А. ИЛЬИН

**Религиозный смысл философии: Три речи 1914-
1923**

I. ФИЛОСОФИЯ КАК ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ

II. ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

III. О ВОЗРОЖДЕНИИ ФИЛОСОФСКОГО

ОПЫТА

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

Книга тихих созерцаний

I. ФИЛОСОФИЯ КАК ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ

Всякий, кто любит философию, – а я обращаюсь мысленно к тем, которые ее любят, – наверное, не раз спрашивал себя, откуда это проистекает, как это слагается, что в философии такое бесчисленное множество разноречий, несогласий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний? Отчего это философия, существующая более двух с половиною тысячелетий и признающая себя за некое высшее, лучшее, безусловно достоверное знание, – живет доселе в притязании на столь великое и с неопределенностью в своем существе? Приступающие к ее изучению нередко выносят и осуществляют убеждение в том, что именно творчество в распоряжении личного произвола и усмотрения; что философствование есть дело субъективного вкуса, личной склонности, личного настроения; что всякий философствует сообразно своим влечениям и симпатиям, и что никто не в праве мешать другому в этом занятии: ведь, все равно, общеубедительной истины нет, или, что (якобы) то же самое, она не находима, или во всяком случае *еще не найдена*; но, если бы даже ее вдруг нашли, эту единую, общеобязательную исти-

ну, самоё истину, то можно быть вполне уверенным, что она не встретила бы общего и полного признания. И вот, слагается успокоительная уверенность в том, что на наш век хватит сектантского духа в философии, что не иссякнет так скоро поток распрей и субъективистических построений, и что в этой сумятице мнений, в этом водовороте разноречий можно будет с успехом проложить себе путь к «оригинальной» философской системе; ибо, как говорили еще софисты, истинно то, в чем ты сумеешь убедить других...

Всякая наука имеет свой особый предмет и судьба ее связана теснейшим образом со свойствами этого предмета.

Наука слагается тем легче и достигает содержательной и формальной зрелости тем быстрее, чем менее внутреннего напряжения и умения, чем меньше душевной и духовной зрелости надо для того, чтобы заметить и воспринять явление ее предмета. В этом отношении бесспорное преимущество имеют все те науки, предмет которых дан *внешним образом*, в чувственно-воспринимаемом виде «вещи» и «вещественности». Здесь, кажется, стоит только «взглянуть повнимательнее», прислушаться, измерить, сравнить одну вещь с другою – и вот уже первые начатки знания состоялись. Предмет, данный с самого начала в виде постоянно окружающей нас материальной или вещественной обстановки, доступен всякому, у кого есть достаточно досуга, интереса и

желания для того, чтобы сосредоточиться на показаниях зрения, слуха и осязания, и далее на «бесхитростном» размышлении о воспринятом.

В этой чувственной данности, в этой внешней, телесной наличности того, что для начала признается «исследуемым предметом», есть некое великое преимущество, которого лишена философия. Опытное знание о вещественном мире имеет здесь некую гарантию того, что разногласия не будут бесконечны и безмерны по диапазону своих колебаний. Возможность апеллировать к легко осуществимому, повторному, – если нужно, но постоянному, – восприятию наблюдаемой вещи; возможность многократно справляться и проверять свои восприятия, утверждая наличность или отсутствие известных свойств у данного предмета, – эта бесценная возможность и ее сравнительно легкое осуществление облегчает и обеспечивает развитие естествознания. Волны субъективной фантазии, легкомысленного произвола и злокачественного уклонения оказываются не в состоянии захлестнуть корабль научного познания. Ошибку зрения или слуха исправит повторное восприятие, эксперимент или, наконец, бесстрастная кривая, зачерченная измерителем.

Мало этого, в естественных науках прогресс и единство знания поддерживаются еще и угрозой возможных в будущем роковых последствий, порождаемых ошибкой: кажется, что возопиют самые простые вещи, если их исказит или о них умолчит человеческое сознание. Здесь человечество не может и *не смеет* распустить энергию своего внимания, ослабить волю к верности знания, субъективистически исказить подлинное обстояние: *практическая расплата* приходит слишком быстро, обрушивается слишком нещадно, сметая с лица земли *самую жизнь* людей, допустивших ошибку или не исправивших ее. Знание о внешнем, вещественном мире ограждено как бы внутренним, естественным образом от того бедствия, под бременем которого страдает философия: *от разложения воли к предметной истине и от ослабления теоретической совести*. Здесь есть некий, беспощадно карающий перст: самое земное существование человека стоит в зависимости от его верного знания о внешнем мире и от технических умений, вырастающих из этого знания. Забывающему о требованиях теоретической совести, погрешающему этим против *духа*, материальная природа слишком скоро напомнит о том, что он *сам* существует на земле в виде тела, и если он не сумел познавательного господствовать над вещью, то он погибнет, подчиняясь недопознанным законам природы...

Эта предметная гарантия осуществляется далеко не с той же силою и верностью в области гуманитарных наук именно постольку, поскольку они изучают не внешний, телесный состав человеческого существа, но внутренний, *душевный*. Здесь предмет, в его первоначальном виде, дан внутренне, т. е. уже не в виде пространственно-временной вещи, одинаково доступной многим, наблюдающим ее со стороны, но в виде субъективно-душевных переживаний, лично испытываемых, у каждого своеобразных и доступных каждому только про себя и для себя. «Душевное» – не пространственно, не протяженно, не материально, хотя оно и длится во времени и потому нередко описывается как «душевный процесс». Но этот процесс всегда *субъективен*, – это есть процесс или в субъективном сознании, или в субъективном бессознательном, так, что «душевное состояние» многих лиц всегда представляет из себя множество субъективных, личных душевных состояний. Для того чтобы уловить «душу» как предмет научного изучения, недостаточно замечать и рассказывать то, что человек бесхитростно переживает; на самом деле здесь нужна гораздо более сложная и тонкая познавательная техника, и, с этой точки зрения, понятно, что психология и психопатология становятся научным знанием только в девятнадцатом и двадцатом веке, а социальная психология, психологическая история и философия доселе стоят еще под знаком научного сомнения. И в самом деле, как много еще в этих «науках будущего» – случайных догадок, верных предчувствий, неверных предвосхищений, несобранного и недоступного материала, не систематических, хотя, подчас, и глубоких интуиции...

Бесспорно, что эта трудная уловимость «души» как предмета исправляется несколько *практическими* опасностями и угрозами: ибо воспитание, душевное лечение и политика как деятельности, основанные на знании о душе, о ее «одинокости» и «общественности» жизни, несут в себе все-таки известные гарантии от чрезмерных уклонений познающего ума и некоторые побуждения к надлежащему напряжению познающей воли; люди, душевно измятые уродливым воспитанием; люди, бессильно присутствующие при душевном разложении близких, или далеких, но духовно дорогих индивидуальностей (Хельдерлин, Шуман, Ницше, Врубель); политические правители, пожинаящие плоды созданного их невежественными или порочными предшественниками духовного и нравственного разложения массы, – все эти люди, и мы сами, через знание о них, получаем практическое напоминание и действенный призыв к активности и бодрствованию нашей теоретической совести.

Но, несмотря на то, что гуманитарные науки не лишены некоторых практических гарантий от чрезмерных уклонений от истины; несмотря на то, что в них возможна и предметная проверка, – через подведение уклонившегося ума к строгому восприятию самого предмета, и практическая угроза, – в виде горьких последствий, встающих в итоге познавательной лени или недобросовестности; несмотря на все это, – как часто приходится здесь взывать к чистой и бескорыстной жажде знать истину как таковую исключительно ради того, что она сама по себе так прекрасна и что знание о ней самой по себе так радостно. Практический вред, проистекающий от ошибок в гуманитарных науках, слишком часто не возвращается на голову того, кто в них повинен; тяжелые последствия, созданные ложным учением о «душе», слишком легко распыляются в окружающей общественной среде, настолько, что бывает трудно доказать с наглядностью причинную зависимость между теоретическим искажением и практическим бедствием. Уже в гуманитарных науках требования теоретической совести, во всей их чистоте и силе, могут оказаться в душе исследователя *единственной* гарантией научного уровня.

Не подлежит никакому сомнению, что требования теоретической совести и вытекающее из них чувство ответственности должны лежать в основании *всякого* научного творчества как такового; это определяются самым основным заданием, самую единую и единственную целью научной деятельности: *познать истинное*, т. е. уловить опытом и мыслью подлинное предметное обстояние. Ученый, который *не* имеет в виду этого задания, ученый, который работает не ради этого достижения, – есть своего рода трагический курьез или явление нравственного уродства. Бесспорно, практическая деятельность во всем ее разнообразии знает подобные и даже еще более резкие уклонения действующего от той цели, к которой он призван. Но, среди этих уклонений, самым тягостным по духовным последствиям и наиболее искажающим человеческую жизнь – является уклонение *священнослужителя, художника и ученого* от чистого и последовательного определения их деятельности содержанием их верховного задания. Эти люди, по самому положению своему, по роду того дела, которому они открыто и сознательно посвятили себя, стоят непосредственно лицом к лицу с тем *высшим, верховным жизненным содержанием, через которое жизнь человеческая вообще имеет значение и ценность*. Изъять из жизни человечества: живое Добро, которое священнослужитель раскрывает в форме религиозной очевидности; художественную красоту, осуществленную и осуществляемую в чувственно-реальных образах; и истину, открываемую в опыте научной очевидности, – значило бы превратить ее в сумятицу инстинктивных влечений и в судорожную, озлобленную борьбу за их удовлетворение. Жизненное дело священнослужителя, художника и ученого есть труд, протекающий в непрерывном *предстоянии* высшему Предмету; их служение отличается от обычного жизненного дела именно *призванностью, непосредственностью и непрерывностью*, в которой они стоят пред лицом *последнего и безусловного*, пред лицом тех сфер, где кончается и отмирает все «только человеческое» и где открывается подлинное духовное и *божественное* обстояние.

В повседневной житейской суете, в погоне за личной удачей и за удовлетворением инстинктивных влечений, – в их примитивном или слегка приукрашенном виде, – все это забывается с чрезмерной легкостью, и сознание людей, незаметно привыкающее к известному уровню разложения и порочности, изумляется и негодует только тогда, когда замечает деяния, из ряда вон выходящие. Процесс обыденной жизни вырабатывает «скрытые» и «терпимые» формы искажений, и только в минуту острого нравственного отрезвления перед человеком встает въяе их сущность и их значение. Если священнослужитель мертв в молитве и корыстен в обряде; если художник льстиво служит своим и чужим большим страстям; если ученый слагает выводы в угоду толпе или силе и непредметно приспособляет научное творчество, – то значение этих явлений имеет всегда трагическую глубину. Те люди, которые, по самому основному делу своей жизни, стоят ближе всего к живым истокам *духовной значительности*; которые взяли на себя непосредственное служение раскрытию и осуществлению самого добра, самой красоты, самой истины; которые добровольно прияли на себя величайшее бремя и с ним величайшую ответственность, – эти люди, если они попирают требование *творческой совести*, являют по истине величайшее падение, ибо и высота их задания, и размер их ответственности суть величайшие.

И вот, если это сказано о всяком ученом как таковом, то к *философу* это должно быть отнесено с особенною силою и значением. Ибо, во-первых, философ, единственный из ученых, берет на себя разрешение вопроса о том, *что есть истина*; подобно священнослужителю, он стоит постоянно перед лицом *добра*, испытывая его природу и раскрывая другим испытанное; подобно художнику он имеет дело с самою *красотою*, исследуя ее сущность и обнаруживая пути к ее осуществлению, узрению и уразумению. Так, теория познания раскрывает природу истины; этика исследует сущность добра; эстетика познает природу красоты. Во-вторых, философия как познавательное творчество, есть в особом и углубленном смысле *внутреннее делание* и притом такое внутреннее делание, предмет которого, – и по сложности, и по значительности своей, и по неуловимости своей для какой бы то ни было внешней и механической проверки, – требует особой, напряженной *душевно-духовной культуры*, особой остроты и чуткости *теоретической совести*, особой *чистоты ока и воли*. Философия, как никакая другая наука, стоит перед последними, самыми углубленными и утонченными, и притом самыми духовно-значительными проблемами; утверждать что-либо в этой сфере – есть дерзание, и философ, больше, чем кто-нибудь, должен помнить о размерах своей ответственности.

Философствование, как всякая познавательная практика, есть не внешнее умение или делание, но внутреннее; это есть *творческая жизнь души*. Однако это не есть просто душевное, но *душевно-духовное* делание. Душа не то же самое, что дух. Душа – это весь поток не-телесных переживаний человека, помыслов, чувствований, болевых ощущений; приятных и неприятных, значительных и незначительных состояний; воспоминаний и забвений, деловых соображений и праздных фантазий и т. д. Дух – это, во всяком случае, лишь те душевные состояния, в которых человек живет своими главными, благородными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, на созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на общение с Божеством – в умозрении, молитве и таинстве; словом, на то, что человек признает *высшим и безусловным благом*. Этим различие между «душою» и «духом», конечно, не исчерпывается; но в пределах человеческого опыта оно начинается именно здесь. Дух это то, что *объективно значительно* в душе; и, философствуя, человек живет в сфере именно этих, объективно значительных состояний. Стать участником в духовном делании – значит, прежде всего, создать в своей душе необходимый уровень внутренней жизни, отсутствие которого делает неизбежными совлечение и пошлость. Тот, кто создал в себе этот уровень, испытывает нечто, как *самое лучшее и высшее*, и поставляет его надо всем остальным; но он испытывает и сознает это лучшее, не как лучшее только *для него*, не как субъективно наиболее приемлемое, приятное, но как *объективно ценнейшее*, как объективно-главное;

как главное не только для всех людей, но безотносительно, как главное и совершенное *само по себе* и *на самом деле*, так, что оно не может потерпеть ущерба в этом качестве своем даже и в том случае, если бы никто из людей не захотел признать его, или если бы все от него отвернулись и отвергли его совершенно. Это «нечто» испытывается притом как *бытие* или как *проявление* некоего высшего Предмета, и в то же время как объективная *мера* для всего остального; может быть, как самый этот Предмет, *главный* в жизни мира и в делах людей. И человек, обращающийся к нему, чувствует и всегда должен чувствовать себя – стоящим *перед лицом Божиим*.

Именно за это, в силу такого своего значения и совершенства, это «нечто» делается предметом любви и радости. Оно любитя всем сердцем, всею душою, всем помышлением; душа радуется ему и стремится к нему, как к источнику истинной радости; но это «нечто» не потому хорошо, что оно приятно, что оно радует; но радует оно потому, что оно в самом деле драгоценно и объективно прекрасно. Человек любит его не просто «душевно», – по сильному и слепому влечению, поверяя своему настроению и полагаясь на свое чувство; но *духовно*, – по столь же сильному, но предметно удостоверенному и объективно правому, зрячему и *все более прозревающему* влечению. Душа оказывается побежденною объективным качеством Предмета, следует его зову, готовит себя к его восприятию, к полной и чистой радости его явления. Эта любовь к совершенному есть любовь, поглощающая личный интерес, личную страсть, личную корысть человека; она приходит с сознанием, что невозможно не любить этого предмета; с непреложною уверенностью, что раз увидевший его, пойдет за ним, оставляя иное. Это чувство, эта *бескорыстная радость объективному качеству предмета*, приучает человека к тому, что все, что есть в нем самом *только* личного, *только* субъективного, – второстепенно и несущественно; что важно, значительно и ценно, – и в нем самом, и в других людях, и в вещах, – то, что *объективно* ценно, *объективно* значительно; что эрос души должен принадлежать и не может не принадлежать именно объективному, безусловному качеству предмета: истинности знания, нравственному совершенству душевного настроения и делания, красоте воспринимаемого и осуществляемого образа, таинственной божественности мироздания. Уметь бескорыстно радоваться объективному и безусловному качеству предмета, – вот первое условие и первая основа истинной и благородной философской атмосферы. Это есть тот уровень, на котором философствование, действительно, получает значение *духовного делания*.

Предметная чистота воли, направленной к истинному знанию, – вот необходимое условие для жизни и роста философии. Конечно, не только в том отношении, чтобы не подчинять процесса познания и обнародования познанного грубым соображениям о личной жизненной выгоде. Нет, того, кто единожды возвысился душою до самозабвенной радости объективному качеству Предмета, для того опасность этих элементарных, деморализующих уклонений не страшна. Но есть в пределах самого процесса философского познания не столь заметные, но тем более опасные возможности уклонения от истинного пути, с которыми каждому из нас предстоит бороться всю жизнь. Философия как духовное делание должна быть и здесь свободна от незаметных упущений и попущений, от уступок личным потребностям, влечениям, тайным симпатиям, от потакания своей личной, осознанной и неосознанной несчастью и от вырастающих из всего этого – ложных проблем и их мнимых решений.

Дело в том, что предмет философии, по первоначальному способу своего «бытия», не подобен предметам других наук: он не дается нам в пространственно устойчивом или легко повторяющемся внешнем виде. Философствующий человек имеет перед своим внутренним взором предмет незримый, неслышимый, нечувственный, не материальный, не существующий в пространстве и не длящийся во времени. Правда, все, что предстоит другим людям, предстоит и ему: и цветы, и реки, и горы, и звезды, и люди; и слово ему звучит, и звук поет ему; и цвета, и линии, и люди говорят его оку. Но философская мысль ищет в явлении *не* явления; она не прельщается видимостью и не

успокаивается на знаке. Видимое и слышимое, телесное и душевное радует ее как верный знак, подлежащий приятию и уразумению, ибо лесной огонек горит там, где таится сокровище. В содержании всякого явления и всякого состояния философская мысль видит *духовный смысл* его, полагая в этом духовном смысле свой предмет, а в его разумном, для каждого очевидном раскрытии – свою задачу. Познавательное обращаясь к этому предмету, вступая с ним в познающее «общение», человек сосредоточивается на своем собственном, непосредственно переживаемом опыте и потому оказывается внутренне замкнутым и отъединенным от других людей; в своем духовном опыте человек представлен всецело самому себе, на основе самопомощи и самоконтролирования. В этом внутреннем отъединении философ должен сам, одиноким и самостоятельным напряжением воли, внимания, воображения, чувства, памяти и мысли *вызвать в себе реальное переживание* того предмета, который он хочет исследовать; он должен предоставить силы своей души для того чтобы в них осуществилась, стало непосредственно и подлинно наличным то содержание, которое подлежит изучению. Познаваемый предмет должен как бы завладеть тканью души и состояться в ней; содержание его должно выступить как бы объективным узором на ткани отдавшейся ему души. Этим и только этим философ может поставить себя в положение ученого, исследующего объективную природу предмета; творческое и согласованное сотрудничество всех указанных сил души в совместном напряжении и общей заботе о верном испытании предмета, его отчетливом увидении и точном описании, дает философу возможность обрести подлинный опыт и объективность в подходе к своему предмету. Мысли предшествует видение (интуиция); видению предшествует опыт. Создав в себе душевным напряжением подлинное переживание своего предмета, философ приступает к одинокому напряженному *внутреннему взглядыванию в сущность внутренне данного содержания*. Понятно, что это внутреннее взглядывание тоже требует участия всех сил души, напряжения ее сознательных способностей и ее бессознательных сил. Здесь осуществляется своеобразное удивление, интуитивное вхождение духа в исследуемое содержание; то, что опыт принял, включил в свой жизненный состав, то, что осуществилось в его недрах, – является теперь предметом систематически интуитивного восприятия. При этом само собой разумеется, что воспринимающее внимание сосредоточивается не на субъективном переживании, не на состоянии или настроении испытавшей души, но на сущности испытанного предмета; эта духовная сущность самого предмета и есть то искомое, философски познаваемое, радующее и любимое обстояние, к которому стремится познающий разум философа.

И вот это *испытывание* и это *вглядывание* имеют известный, теоретическую совестью определяемый необходимый уровень, по достижении которого наступает третья стадия: аналитическое описание и разумно-логическое раскрытие испытанного и усмотренного содержания. Душа, переходя к этой последней стадии, должна иметь твердую уверенность в чистоте и верности выполненной ею работы; но для этого она должна использовать сначала все пути и средства, могущие ей дать гарантию в этом, она должна уметь творчески сомневаться, испытующе вопрошать и беспристрастно проверять; она должна создать в себе твердую и обоснованную уверенность в отсутствии субъективистских искажений. И только тогда, когда все это сделано и осуществлено, она имеет право приступить к разумному раскрытию того, что она испытала и увидела, – к непредвзятому, отчетливому описанию и логически ясному формулированию того предметного содержания, которое как бы ждет своего окончательного раскрытия; к избавлению видимого предмета от той видимости неразумного пленения, в котором он томится. Настоящее подлинное философствование дает человеку истинное знание и притом в форме разумной мысли, которая должна заключить в себе все, что объято опытом и преодолено видением. Вот почему философия всегда имеет единое задание: раскрыть с силою разумной очевидности подлинное содержание предмета, систематически испытанного и усмотренного философствующей душою.

В этом, внутренне сосредоточенном и утонченном *духовном делании*, философствующая душа, как это уже ясно, пребывает в отъединении и своеобразном одиночестве. Она остается в непроницаемом для чужого сознания замкнутости, с глазу на глаз с самостоятельно добытым, испытываемым, интуитивно исследуемым и мысленно раскрываемом содержании предмета. Вообще говоря, никто никого не может впустить в свою душу; никто не может заменить другого в делах духовного строительства; никто не может снять с чужой души бремя самодеятельного очищения души и самостоятельного вынашивания очевидности – бремя одинокого опытного и разумного, духовного познания. Философское познание требует высокой, *лично* выращиваемой и осуществляемой духовной культуры. И в этом деле необходима именно та неустанная *нравственная активность в познании*, которой учил Сократ и к которой взывал Фихте. Здесь необходима личная непреклонная воля к совершенному знанию и напряженная чуткость личной теоретической совести. Теоретическая совесть ставит перед познающей душой всегда одно и то же единое требование: «ты можешь и должен признать и открыто исповедовать как истинное только то, в познании чего ты, по крайнему проверенному разумению своему, освободил себя от всех субъективистических искажений, осуществил все средства личного очищения и предметного углубления, известные человечеству, и достиг на этом пути испытания личной, по душевному переживанию, но сверхличной, по содержанию и значению, познавательной очевидности». Это требование теоретической совести поистине неуклонно и неумолчно; и философ, больше чем какой-либо другой ученый, должен постоянно иметь его в виду, уже по одному тому, что философское познание имеет в теоретической совести свою главную, а может быть и единственную ограду и от субъективистического вырождения. Ибо практический жизненный вред, приносимый ложным философствованием, виден воочию только тому, и постижим только для того, кто уже закалил свою душу в требованиях духовного уровня; и этот вред не всегда есть вред материального или только душевного характера, как в других областях знания и жизни, но прежде всего вред духовной природы; он выражается в том коренном вырождении религиозного, познавательного, эстетического и политического уровня жизни, которое обладает свойством – в течение долгого времени быть незаметным и вдруг обнаруживаться с вопиющей очевидностью уже состоявшегося падения и разложения всей духовной атмосферы.

Философствование обязывает. Сознание этого должно непрестанно гореть в душах тех, кто говорит от лица философии. Оно обязывает уже потому, что философия есть *знание*; а всякое знание дает духовные права и возлагает духовные обязанности. Знание есть дар и богатство, потому что знающий именно в том, что он знает и поскольку он знает, знает не только «наверное», но знает верно, подлинно, объективно: он выбрался из колеблющейся трясины мнений и достиг очевидности. У того, кто знает, знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой очевидностью, которая силою объективности своей создает *верующее знание* и *знающую веру*. Верить и веровать можно лишь в то, что верно, что *в самом деле* так. Нельзя верить во что-нибудь, зная, что *на самом деле* «это иначе»: такой человек был бы невменяем. Но нельзя и знать что-нибудь, веря, что *на самом деле* «это иначе»: такой человек был бы лишен и веры, и знания. Знать – значит иметь объективно обоснованную уверенность; но как же может тогда человек, говорящий о знании, не верить в зна-емое? Верить значит гореть признанием истины; но как же может тогда человек, признавший истину, не иметь объективно обоснованного знания? Знание может быть еще не раскрытым, вера может временно пребывать в состоянии бессознательного аффективного опыта; но *по существу* – они одно. Ибо гипотеза и предположение не есть еще знание; а воздыхание и мечта, ожидание и вожделение, чаяние и упование не есть еще вера. Вот почему знание есть дар и богатство.

Но философия как знание о важнейшем, о духе, о безусловном – есть лучший дар и большее богатство. Философия, познавая сущность духа и безусловного, должна

вынашивать именно ту обоснованную уверенность, достоверность, без которой нельзя ни знать, ни верить. Но эта очевидность и достоверность не должна храниться в тайне и открываться только посвященным. Философский предмет объективен и един для всех; он должен быть доступен всем вопрошающим и ищущим; и то, что известно, и то, во что веруется, что утверждается как очевидное и достоверное – должно быть раскрыто всем жаждущим знания, ибо философия есть наука, она организует свой опыт, проверяет свое интуитивное восприятие, описывает воспринятое, анализирует, синтезирует и доказывает. В философии не должно быть места для произвольных построений или воздушных замков, для самообмана, мнимых наитий или волшебства. Философия не мистифицирует ни себя, ни других. Она может и должна быть вполне свободна от *суеверия*, когда человек достаточно «верит», чтобы бояться, и не достаточно «верит», чтобы не бояться, «верит» от страха и боится от «веры», унижая себя своею «верою». Философия ищет *света* и находит свет и работает всегда при том свете, который ей дан свыше и умножен ею самою; и потому она не только не питает и не создает страха, но стремится не оставить и места для него: ибо страх возникает лишь там, где противоразумные вожеления и отъединившиеся силы, томясь, работают во мраке и грозят из темноты. Начиная, как и всякое знание, с опыта, и испытывая природу духа и Духа, философия не имеет основания к тому, чтобы прятать дающееся ей в опыте предметное богатство от разумного раскрытия, побеждающего и возводящего, и потому радостного. И если истинно религиозный человек приемлет лишь то, и верует лишь в то, что открылось ему с очевидностью, в личном, но подлинном духовном опыте, то философия по содержанию своему есть религия.

Вот какая ответственность встает перед душой, которая решает посвятить себя философии. И тот, кто, философствуя, будет иметь перед своими глазами это высшее назначение философии и неизменное требование теоретической совести, тот сразу увидит и до конца будет помнить те опасности и отклонения, которые могут встретиться на его пути. Необходимо продумать эти опасности и увидеть, куда они ведут, для того чтобы их преодолеть.

Первая опасность в том, что философствование может потерять свою единственную верховную цель и превратиться в не самодовлеющее, не самоценное, не самозаконное делание, т. е. начать служить посторонним и чуждым ему целям. О намеренных и сознательных искажениях истины можно здесь и не говорить: своекорыстное извращение правды о духе и софистическая апология сильного может осуществляться только тем, кто никогда не знал, что есть настоящая философия. Однако здесь есть и другие уклоны. Философское знание должно быть свободно не только от посторонних мотивов, но и от всяких непредметных явлений, основываясь на *самостоятельно* добытом опыте и *лично* испытанной очевидности. Это испытание очевидности, как бы вырастающей из глубины самого предмета, не может быть ничем заменено и вытеснено. Правда, авторитет есть великая культурно-воспитательная сила; но задача его в том, чтобы *временно* заменить очевидность, предварительно, лишь в виде педагогической или пропедевтической опоры, необходимой на первых порах для сохранения и утверждения благих традиций. Задача авторитетного руководства состоит именно в том, чтобы воспитать неопытную душу к самостоятельному познанию, чтобы научить ее самостоятельно обретать предметно обоснованную зрелость и предоставить ей свободный путь. *Заменить* очевидность авторитет не может, и, как только она состоялась, так, строго говоря, между нею и авторитетом невозможен даже конфликт. Философ как ученый и как верующий может быть верен только одному – предметной очевидности; и всякий авторитет призван уступить ей добровольно, так, как некогда ему самому уступали авторитеты прошлого. Повиновение *не* предмету, *не* Богу, но «человекам», – не может быть добродетелью философа: в этом основа философии как верующей науки – в этом *автономия духовного опыта*.

Вторая опасность в том, что суровая, очищающая личную душу борьба за объективно-верное испытание и за действительное усмотрение предмета, – может

замениться или скорым легким нахождением субъективных впечатлений, или же нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы.

В первом случае происходит подмена философского опыта личными впечатлениями, догадками или мнениями; и философия вырождается в праздные разговоры, в претенциозные, хотя, с виду, и ни к чему не обязывающие сообщения, которые, может быть, и не лишены автобиографического интереса, но свободны от философского значения. Именно на этом пути философствование оказывается во власти людей, не имеющих отношения к философскому предмету и все же слагающих более или менее легкомысленные суждения и мнения по поводу предметов и проблем. Этим философское искание перестает быть исканием, оно утрачивает свою практическую серьезность и превращается в непрерывное и легкое «нахождение»; оно отвязывается от предмета, порывает с опытом и очевидностью и слагает вокруг себя атмосферу вседозволенности. Философское общение вырождается в более или менее искусную «диалектику» и теряет свое глубокое, духовное и нравственное значение. Понятно, что на этом пути нетрудно дойти и до принципиального субъективизма и релятивизма, до успокоительного учения о том, что «все относительно». Философское исследование превращается в более или менее неудачный рассказ о том, «что я за человек» и «каковы мои мнения», а призыв к предметности, к ответственности и сверхличной очевидности объясняется претенциозностью и самоуверенностью призывающего.

Во втором случае предметный опыт заменяется нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы, и философствование вступает на путь своеобразного вдохновения. Двигаясь на этом пути, люди становятся профессионалами «тайноведами» и разделяются на две большие группы: одни технически владеют приемами своего «тайноведения» и искусно прививают их своим неприхотливым, простодушным, наивно-доверчивым ученикам; другие сами оказываются во власти своих мнимых откровений и растерянно несутся в их неуравновешенном течении.

К первым принадлежат, например, современные «антропософы», которые любят прикрываться словом «наука», а на самом деле проповедуют некую, якобы мистическую, душевную практику. В этой сумеречной душевной практике, которая представляется им, если не мудростью, то во всяком случае истинною дорогою к мудрости, меркнет чистый свет философского знания, и разумная жизнь духа растворяется в культивировании наиболее физиологических сторон и способностей души. Таково их «ясновидение», покупаемое ценою беспредметности и отказа от предметного опыта. Напрасно говорят они о науке: их «наука» не имеет ничего общего с тою наукою, которая ищет объективности в исследовании, открыто утверждает и открыто доказует; их «наука» есть *магия*, а содержание их «учения» – смутная химера. «Антропософ» старается магически овладеть тайною своей личной бессознательной сферы и вступает для этого в практическое жизненное общение не с предметом, а со своим собственным бессознательным. Это общение погружает центр его личной жизни в непонятную для него глубину родового инстинкта; и совершается это *не* ради знания: как истинный «маг», антропософ ищет не знания, а господства, *власти* над непокорной и несчастной стихией своего существа. Играя и ужасаясь, страдая и наслаждаясь этим процессом медленной, постепенной утраты своего *личного духа* в предписанных «учителем» «медитациях», он идет ко дну, не выходя из себя, ничего не познавая, хотя испытывая «новые ощущения»; и так он покупает себе, наконец, личное успокоение ценою своей духовной личности, ценою отказа от разума и философического бремени. Трагедия его в том, что, ища овладения и господства, он вступает на путь, приводящий его к успокоенной подчиненности, к содержательному и формальному торжеству бессознательной стихии над духом и сознанием; душевное равновесие иногда приобретает, но личность выводится из ряда духовных борцов и свершителей. И тщетно пытается антропософ сослаться на свое оправдание на свою «мировую» «умудренность». Он имеет, конечно, некоторую видимость «учения», но оно представляет из себя не более, чем

несамостоятельную и эклектическую химеру. Знание как предметный опыт, вернее видение и разумеющая очевидность – вообще не ценятся и не культивируются ими, а то, что они называют «оккультным», т. е. сокровенным знанием, не скрывает за собою ничего, кроме родовых содержаний бессознательного. Они, по-видимому, не знают, что научный опыт проник дальше их и глубже их в жизнь бессознательного, проник знанием не беспредметным и сокровенным, а предметным и открывающим, и что самая «тайна» их таинственной практики уже во власти науки. Они «ворожат» всю жизнь вокруг непонятого им самим центра и не видят, что от их «мудрости» умалается свет на земле.

Другая группа «тайноведов» по иному уклоняется с философского пути. Эти искатели сами оказываются во власти своих, якобы религиозных, «откровений» и, изнемогая от их смутного и нередко вполне личного содержания, они блуждают потому, что не выдерживают бремени личной душевной несчастья, и, запутываясь все больше, чувствуют себя все более несчастными. Та особенность философского опыта, в силу которого в его осуществлении должны участвовать *все* силы души и притом в обращении к невещественному предмету, приводит к тому, что в дело вовлекается вся бессознательная сфера во всей ее утонченности, страстности и трудно-уловимости. Но, именно вследствие этого, все тайные влечения и желания, обычно не допускаемые на порог дневного сознания и хоронящиеся, подобно Нибелун-гам, в тайниках ночной души; все особенности личного «вкуса», приобретенные в жизни и духовно неочищенные; все те ранения душевной ткани, которые у каждого из нас приобретаются с детства и живут, не исцеленные, всю жизнь, нередко разъедавая душу и повергая ее во всевозможные психозы и неврозы, – все это, при отсутствии надлежащей очистительной работы, при отсутствии безжалостности к своей душевной традиции и к своему душевному самочувствию, вторгается в философскую работу и делает душу мало способной к предметному опыту и исследованию. Философия становится тогда игрищем скрытых страстей; она оказывается более или менее удачно найденным компромиссом между запросами личного бессознательного и сознательной идеологией; она говорит гораздо более о личном укладе души, чем о предмете. При этом энергия познания нередко растворяется в субъективную слепую убежденность, которая следует за всеми превращениями все вновь перестраивающейся «идеологии» и, в сущности говоря, может найти себе успокоение только в гетерономном приятии той или иной догмы.

Наконец, есть еще третья опасность для философии, это опасность рассудка, открывающегося от живого предметного опыта и интуиции. Этот опыт ведет философию не к волхованию и не к субъективистическому вырождению, а к смерти в безводной и безвоздушной пустоте. Здесь философия сохраняет, правда, видимость научного знания, но именно одну только видимость; и отстаивая ее, она как бы гибнет на посту с оружием в руках. Такие мыслители начинают ценить выше всего формальные различия и определения понятий, формальное единство философской «системы», формальные проблемы и постановки вопросов. Утратив живое отношение к предмету, не сознавая, что, при таком положении дела, философия неминуемо вырождается в комбинацию беспочвенных понятий, они остаются нередко без всякой предметной опоры и начинают заменять ее опорой *чужой мысли*. Но чужая мысль, быть может, в свою очередь ведет оторванное, беспредметное существование, опираясь на более ранние системы и учения; и тогда в философии начинает обнаруживаться какая-то наследственная опустошенность. Пишутся книги о книгах; строятся особые толкования и понимания чужих идей; чужие воззрения исследуются, как некая самостоятельная ценность; культивируется изощренная библиографическая осведомленность. Мысль как бы высыхает и запутывается в сетях собственных мертворожденных утонченностей. Потомки бессильно увязают в наследстве, оставшемся от предков; и тогда история философии не только не научает предметному философствованию, но прямо уводит от предмета: отжившие системы вырастают перед эпигоном как заколдованный лес, через который нет ни прохода, ни проезда и скудный

свет абстрактного рассудка не может пронизать эту чашу и показать заблудшему дорогу к истинной цели.

Таковы основные опасности философского пути. Преодолеть их возможно только через верность предметному опыту и требованиям теоретической совести: философ должен утверждать и исповедовать только то, что он сам испытал в духовном опыте и с очевидностью узрел в исследованном им предметном состоянии. И если он будет верен этому правилу, то в философии начнет уменьшаться число беспочвенных разногласий и бесплодных споров и она получит возможность превратиться в подлинное знание о сущности духа, о его путях и законах.

Философия не в отвлеченности, не в сплетениях хитроумия и не в праздноту лукавом мудровании. Нет, настоящая философия духовна, опытна, честна и проста; и именно в этих свойствах своих она приближается к настоящей религии.

Когда-то Гегель сокрушался о низком уровне той национально-духовной культуры, которая не создала еще своего самостоятельного религиозно-метафизического чувствования и понимания Бога, мира и человека. Он знал, как до него разве один Аристотель, что духовный опыт и философическое созерцание составляют самую глубокую сущность всей национальной жизни; что именно *предметное раскрытие жизни духа* есть то делание, то совершаемое немногими творчество, ради которого в слепоте жили, в слепоте страдали и умирали столь многие; что именно *разумное утверждение духовного Предмета* (метафизика, вырастающая из подлинного религиозного откровения) есть та вершина духовного горения, которая религиозно питает и завершает культуру народа как живого единства и которая действительно может быть источником подлинной *духовной чистоты и силы*.

II. ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

1

Философия больше, чем жизнь: она есть *завершение* жизни. Но жизнь первее философии: она есть ее *источник* и предмет.

Среди людей, чуждых и предмету и заданию, издревле существует распространенное воззрение, согласно которому философия не имеет никакого отношения к «действительной жизни» и, сама по себе, не есть «наука». Философия – это в лучшем случае «прекраснодушная мечта»; тогда как жизнь и наука суть нечто трезвое: трезвая практическая деятельность и трезвое практическое знание. Именно поэтому жизнь нуждается в науке и *не* нуждается в философии; а наука проверяется жизненной практикой, но вполне может обойтись *без* философских отвлеченностей.

Философия, думают многие, есть «мечтательное умствование» или «умственное мечтание»: человек, слабый волею, но сильный воображением и праздный умом, бежит от очередных, «больших» запросов жизни и создает мир химерических отвлеченностей. Он утешается этим миром, «верит» в него и замыкается в нем; он пытается «заговорить» себя, «обмануть» и свой и чужой разум; и постепенно ограждает себя стеною громких слов, туманных настроений, утонченных и непонятных выдумок.

Здесь нет единого, общего всем предмета; нет единого и зрелого научного метода; здесь все субъективно и произвольно, ибо каждый говорит про себя и о своем: каждый твердит о своей «химере». Ни один не понимает другого; но «все не согласны»: каждый не приемлет чужую химеру, ибо чужая – никому не нужна. Нужна *своя*: только она есть «истина», она – родная выдумка, *личный миф*, «*моя сказка*». В ней излилась, ею закрепилась личная мечта о себе, о мире и о Боге; отсюда ее чисто личное значение. «Чужая философия» – это чужое *излияние*; сколько же надо терпения, чтобы слушать подолгу и внимательно чужие излияния? Вот почему философы не могут спорить друг с другом и не умеют друг друга выслушивать: они подобны, в лучшем случае, сонму дервишей, выкликающих, каждый про себя, никому не понятную молитву никому не известному божеству.

Для чего же все это утонченное препарирование личной мифологии? И как можно преподавать философию? Разве история не есть история духовных блужданий и недугов? Разве возможно какое-нибудь научно-философское достижение?

Бесспорно: если философия порождает одни «личные химеры», вненаучные излияния или умственные мечты, то ее *нет вовсе* и преподавание ее невозможно. Все создания ее порождены игрою ума и таланта; они войдут, может быть, в объем искусства, и тогда история философии будет поглощена историей литературы.

Однако верно ли это? Верно ли, что философия творит одни «беспредметные химеры»? Что самый способ ее творчества делает ее индифферентною истине? Что она оторвана от жизни и не нужна ей?

Среди тех, кто занимается философией, или говорит от ее лица, есть и в наши дни немало таких, которые виновны в столь неверной репутации, сложившейся у философии и у философов. Так, германская философия последних десятилетий действительно создала немало мертвых отвлеченностей, не нужных для подлинной жизни; а философская культура России не сумела еще побороть в себе ни беспредметного импрессионизма, ни склонности к увеличению чисто личной, релятивистической химерою. Но разве недостатки *осуществления* компрометируют самое задание? Разве недуги составляют самую сущность организма? Разве можно заключать от того, что чего-то *нет*, к тому, что оно *не может* или *не должно* быть? Разве чье-нибудь неумение доказывает что-нибудь, кроме того, что не умеющий не умеет? Если отрицать философию по этим соображениям, то следует навсегда покончить не только с философствованием, но и с политической деятельностью, с врачеванием, с педагогикой, и вообще со *всякой* другой деятельностью; ибо везде были ошибки, всюду есть неумение, всегда будут неудачи.

Однако, быть может, враги философии допускают, что именно *она* является несчастным исключением из всех других деятельностей и наук; что именно у философии недуг составляет самую сущность организма; что самое задание ее таит в себе *внутренний порок* неосуществимости; что здесь есть *мнимая проблема*, порождающая сплошные гнезда недоразумений. Но это значило бы, что у философии нет и не может быть особого, самостоятельного предмета; что ей недоступен систематический метод; что она никогда не могла доказывать и никогда не сможет доказать своих утверждений; что она пуста и мертва; что у нее нет и не может быть подлинной, творческой связи с жизнью.

Тот, кто взялся бы доказать и доказал бы эти тезисы – оказал бы великую услугу человечеству: он положил бы раз навсегда конец претензиям и посягательствам философов; он упрочил бы пределы истинной науки; он указал бы философии ее истинный предел и направил бы силы молодого поколения в сторону *искусства* и *религии*. И в результате этого подвига философия оказалась бы культурным пережитком наряду с философским камнем и жизненным эликсиром, наряду с *perpetuum mobile* и гомункулом.

2

Доныне врагам философии не удалось доказать этих тезисов, они иногда побеждали там, где доказывали недостаточную методичность того или иного философствования; они всегда бывают правы, когда указывают на расхождения и разногласия между отдельными философскими учениями; они всегда будут иметь основание отвергнуть мертворожденные выдумки философов всюду, где такие выдумки возникнут. Однако все это несколько не подтверждает их принципиального отрицания философии. Доказывая ее невозможность или несостоятельность, они имеют перед собою творчество, сущность которого скрыта от них, и предмет, доступа к которому они не знают. Их сомнение порождено не опытом или исканием, а непониманием и предвзятостью. Они отрицают то, чего не видели; они объявляют неосуществимым то, чего сами не пытались осуществить. Их рассуждения не восстают из страдания в предмете и не покоятся на подлинном познавательном напряжении; они судят со стороны, лишённые запросов, органа, опыта и компетентности. Поэтому соображения их имеют

всегда априорный и необузданный характер; а компетентный ум спокойно созерцает комизм их усилий – доказать *невозможность* того, что на самом деле уже реально.

Ибо, вопреки мнению, философия имеет свою *научную лабораторию* и свои *жизненные достижения*.

Эта лаборатория доступна далеко не всякому и многим войти в нее удастся. Даже из тех, которые мнят себя философами и имеют соответствующую репутацию, не все служат философии и творят ее. Зато в этой лаборатории живут и работают многие, не знающие о том и не понимающие своего жизненного дела, так, что они удивились бы, узнав об истинном значении своей деятельности. В этой лаборатории накапливается и осмысливается *духовный опыт*, без которого нет, не было и не будет настоящей философии; из нее выходят все подлинные философские *достижения*, *научные* по своей форме и глубоко *жизненные* по своему содержанию.

Доказать невозможность таких достижений нельзя потому, что они фактически имеются налицо в великом историческом хранилище философии. На протяжении истории философия *уже* показала, что она имеет подлинную, творческую *связь с жизнью*; каждым серьезным свершением своим она доказывает, что у нее есть особый, самостоятельный *предмет*; ее лучшие творцы и вожди выковывали систематический *метод* и владели им; она по самому существу своему ищет *доказательств* для каждого своего утверждения и многие уже доказала. Поэтому тому, кто не признает философию, приходится отрицать факты или закрывать себе на них глаза; ему предстоит доказывать, что состоявшееся не состоялось, что предстоящего нет, что оно невозможно; для этого он должен обеспечить слепоту и себе и своему слушателю. И потому, если он «победит», то его «победа» будет свидетельствовать только о его некомпетентности; а это значит, что он совсем не победит.

Напротив, сама история философии есть живое доказательство того, что философия – не бред, не пустословие и не беспредметное блуждание; мало того, что философия есть *наука о жизни*. Ибо, в самом деле, *философия есть систематическое познавательное раскрытие того, что составляет самую глубокую основу жизни*. Сама жизнь в ее истинном смысле и содержании составляет ее *источник* и является ее *предметом*, тогда как форма ее, задание, приемы, категории, итоги – все это делает ее *наукою* в строгом и подлинном значении. Философия рождается в жизни и от жизни, как ее необходимое и зрелое проявление; не от быта и не от животного существования, но от *жизни духа*, от его страдания, созерцания и жажды. И, рожденная духом, ищущая *знания*, она восходит к его зрелой и совершенной форме – к сознательной мысли, с ее ясностью, систематичностью и доказательностью. Философствовать значит *воистину жить* и *мыслью* освещать и *преображать* *сущность подлинной жизни*.

Естественно, что философия чужда и недоступна тем, кто не знает или не чувствует различия между *бытом* и *духом*, кто исчерпывает свою жизнь бытовыми содержаниями или отдает ее на служение технике быта. Для таких людей «не существует» ни того *задания*, которое движет философию, ни того *предмета*, который она созерцает, ни того *измерения*, в котором она движется и раскрывается. Быт, слепой для духа, не знает философии и не творит ее; но вправе ли она отрицать ее значение и ее возможность, отправляясь от своей слепоты? Для того, чтобы жить философскими содержаниями и тем более для того, чтобы придавать им форму мысли, человек должен иметь как бы особый орган; или, вернее, душа его должна быть достаточно *глубокой* для философского предмета, достаточно *восприимчивой* для философского содержания, достаточно утонченной для философского мышления и достаточно *творческой* для дела оформления. Каждое из этих свойств, каждая из этих способностей может быть присуща человеку в большей и меньшей степени; и каждая иная комбинация этих сил даст иную творческую индивидуальность. Однако душа, лишенная *первой* способности, т. е. совсем не живущая на той *глубине*, на которой впервые открывается наличность философского предмета, – окажется пораженной философской слепотой, а потому и не компетентной в вопросе о бытии, значении и жизненной силе философии.

Для того, чтобы судить о философии, надо *жить ею*; и тот, кто не может или не хочет жить философским предметом, обязан воздерживаться от суждений и о самой философии, и о ее предмете.

3

Итак, философия по самому существу своему не только не чужда жизни, но связана с нею, как со своим *источником и предметом*.

Как бы ни определить философию, она всегда окажется *знанием*. Но знание не может состояться иначе, как в форме встречи, или схождения, или соединения между *объектом и субъектом*. Отсутствие объекта делает знание лишенным предметного содержания, т. е. беспредметно-неопределенным, и, в смысле истины, бесплодным состоянием души; т. е. *незнанием*. Отсутствие субъекта оставит предметное содержание субъективно-не-испытанным, не усмотренным, не по-мысленным; т. е. *непознанным*. Но, для того чтобы знание состоялось, необходимо чтобы *содержание* объекта вступило, так или иначе, *в пределы субъекта*. Ибо знание есть разновидность обладания, *имения*; чтобы иметь, надо взять, по-ять; без взятия, по-ятия, не может быть ни по-нимания, ни по-нятия.

Это значит, что содержание предмета должно состояться, обнаружиться, выступить в душе субъекта. Познающая душа должна *предоставить свои силы и средства предмету*; это необходимо для того, чтобы принять в себя его содержание, дать ему *осуществиться* в себе. Предмет должен как бы прозвучать своим содержанием в познающей душе; высказаться в ней; как бы выжечься в ее ткани; подлинно присутствовать в ней так, чтобы душа зажила стихией самого предмета и стала *одержимой* его содержанием. Только тогда человек может сказать, что он *испытал* предмет, что он приобрел первую основу всякого знания – *предметный опыт*.

Вне предметного опыта невозможно никакое знание. Каждый ученый посвящает свои силы именно тому, чтобы приобрести и накопить *подлинный предметный опыт*. Каждый ученый превращает свою душу в хранилище испытанных содержаний. Именно присутствие их в нем делает его ученым, или, вернее, дает ему возможность научного познания. Человек может быть назван ученым лишь постольку, поскольку он превратил свою душу в среду, *систематически одержимую предметом*; ибо научное изучение есть, прежде всего, *систематическая практика предметной одержимости*; этим знание не исчерпывается, но именно в этом его начало и его подлинная основа. Вне мобилизованного предметного опыта *никакого знания никогда* не было и не будет.

И вот возникает силлогизм; всякое знание есть опытное знание; всякая философия есть знание; следовательно, *вся философия есть опытное знание*. Неопытная, сверхопытная философия есть недоразумение или легенда. Известно, что философы не раз пытались утвердить свое знание «независимо от опыта»; об «априорном» знании написано немало исследований. И тем не менее безопытной философии никогда не было и не будет. Именно тогда, когда философ думает, что он освободил себя от опыта, он или *предвосхитил* его и совершил самообман; или освободил себя от известного, *специфически* определенного опыта и обратился к другому опыту (например, от чувственного – к нечувственному, от «внешнего» – к «внутреннему», от созерцающего – к мыслящему); или освободил себя от восприятия *одного предмета*, осуществляя восприятие другого; или же уклонился *совсем* от *предметного* опыта, удовлетворяясь его беспредметными суррогатами. На самом же деле опыт остается налицо во *всех* этих случаях; ибо предвосхитить не значит обойтись *без* него, но значит получить его на неверном, на дурном пути: специфический опыт не перестает быть опытом, а неверный или беспредметный опыт отнюдь не открывает душе сверх-опытную сферу.

Необходимо покончить раз навсегда с предрассудком «внеопытного знания». Философские учения делятся не на «опытные» и «сверх-опытные», а на такие, которые *сознательно культивируют предметный опыт*, и такие, которые этого *не* делают. Ибо от опыта не освобождает никакая *интуиция*, никакое «прозрение», никакая метафизическая *спекуляция*, никакая рационалистическая *дедукция*.

То, что обычно называют *интуицией* или «прозрением», есть или *случайное опытное восприятие предмета*, над которым философ не властен, которого он не умеет ни повторить, ни проверить, ни подвергнуть систематическому очищению – и именно потому беспомощно ссылается на таинственную «интуицию»; или же это есть *систематическое, методически руководимое опытное созерцание предмета*. В обоих случаях опыт имеется налицо; однако в первом случае философ не владеет им, не организует его, не превращает его в сознательно практикуемый *метод*, тогда как во втором случае опытное восприятие становится подлинным, систематически применяемым орудием или *методом познания*. Это значит, что «интуиция» не только не «освобождает» от предметного опыта, но сама не что иное, как известная стадия осуществляемого опыта; и так обстоит дело не только в философии, но и во всяком *религиозном* откровении, и в *нравственном* наитии, и в творческом воображении *художника*.

Подобно этому от опыта не освобождает никакая метафизическая *спекуляция*. Во всякой подлинной, глубокой философии «спекуляция» покоится на систематическом созерцании предмета; она питается этим опытным восприятием, почерпает из него свое содержание и проверяет себя его показаниями; так, что истинный философ дорожит в своем творчестве отнюдь не игрою мысли и не комбинациями понятий, но именно систематическим опытом и *систематическою интуицею предмета*. Бывает и так, что опыт и созерцание прерываются или восполняются чисто мысленным, гипотетическим или дивинаторным напряжением; но именно такие перерывы и восполнения порождают наиболее *субъективный* элемент всего учения. Аналитическое или синтетическое придумывание всегда рискует исказить, изуродовать предметную ткань теории и этот риск слишком часто ведет к глубоким искажениям и ущербам. Философ додумывает и при-вдумывает именно там, где он *не-до-внял* предмету, т. е. где его внимание, или, что то же, его предметное «внутри-имание» – не выдержало и изнемогло. Конечно, в этом додумывании он иногда верно предвосхищает возможные показания опыта, к которому он всегда обязан обратиться в дальнейшем; но понятно, что это предвосхищение будет содержательно верным и ценным лишь постольку, поскольку ранее состоявшийся опыт был действительно предметным.

Напрасно думать, будто возможно спекулятивное знание в смысле *неопытного происхождения*. С идеей такого знания победоносно боролся еще Кант; и, когда его ближайшие преемники – Фихте, Шеллинг, Гегель снова вернулись к «метафизике», то в основе ее лежал уже *новый опыт*, почерпнутый из новооткрытой Кантом духовно-творческой сферы в «субъекте». «Метафизические» выдумки, сложившиеся на основании случайного, непроверенного, или, еще хуже, *чужого* и *беспредметного* «опыта» – остаются всегда возможными; но такие построения будут всегда подобны карточным домикам: первое же прикосновение предметной действительности превратит их в развалины.

Наконец, и *дедукция* невозможна без опыта. Великие философские учения, подобно системе Спинозы, дедуктивны только *по форме изложения*. Ибо их «верховная идея» *уже* сосредоточивает в себе результат долгой и систематической интуитивно-опытной практики; она *уже* таит в себе все испытанное содержание предмета и, развертываясь, обнаруживает дедуктивно то, что добыто долгим опытным страданием в предмете. Понятно, что предметная верность всей последующей «дедукции» зависит именно от предметной верности первоначального опыта. В таких учениях опыт до известной степени отрывается от последующего разумного развертывания, но он отнюдь не отсутствует и не смолкает; он *не* обогащается и *не* исправляется в процессе дедуктивного построения и в этом есть известная опасность и дефект; но вся теория покоится на его эксплуатации и, принципиально говоря, не смеет дать более того, что она получила из опыта. Вот почему мыслитель, который созерцательно продумает «определения», установленные Спинозой в начале «Этики», – усвоит без труда все дальнейшие «теоремы» и никогда не примет «геометрический» *способ изложения* за

подлинный познавательный метод великого «рационалиста». Настоящая философия понимается не отвлеченной мыслью, но только *конгениальным предметным видением*.

Понятно, что без опыта не могут обойтись и повседневные «дедуктивные построения» в философии; но в них опыт остается случайным, непроверенным и часто дурным и убогим. Это бывает особенно тогда, когда строящий ум сознательно разрешает себе пренебрегать опытом и сочетает дедуктивное тяготение с релятивистической постановкой вопроса: тогда возникают произвольные и беспочвенные комбинации, прикрываемые нередко ссылкой на безысходный «субъективизм» всякой философии. «Можно *так* построить», рассуждает беспочвенный комбинатор понятий, «тогда выйдет то-то; а можно иначе, – тогда выйдет другое». Но *как* именно *необходимо* и *должно* строить, повинувшись предмету, – он не знает и не может знать, потому что опыт его беспредметен и не систематичен. Такие «строители» философских теорий не обходятся совсем без интуитивного опыта; но они не культивируют его предметную основу и довольствуются случайными, мимоходом добытыми данными; они не созерцают, а подглядывают; не испытывают, а похищают; и, подвергая свой скудный материал произвольной и беспринципной перетасовке, они уродуют в корне свои, ни для кого не убедительные построения.

4

Философское знание есть *опытное* знание. Что бы ни исследовал философ, он не имеет другого источника; и в этом его положение подобно положению всякого другого ученого. Философская наука как таковая покоится на предметном опыте, т. е. на проверенном, верном, адекватном восприятии изучаемого предмета изучающей душой. Без этого восприятия душа философа остается познавательно-бессильной и некомпетентной. Так, сознание, не воспринимающее чистого, безобразного понятия, не в состоянии формулировать законов логики; душа, отвращающаяся от показаний совести, бессильна судить о добре и зле; суждение о красоте и художественности беспредметно и праздно, если орган эстетического восприятия пребывает в бездействии и немощи. Самое обычное, отвлеченное мышление, при всей своей «формальности» есть своего рода *опыт* и этот опыт нуждается в *культуре*; именно поэтому так бесплоден спор с некультурным человеком, не привыкшим испытывать неизменную тождественность понятия и принудительность верного силлогизма. Итак, *не испытанное содержание – не познано; неиспытанное содержание – непознаваемо*. Такова *первая аксиома философской методологии*.

Однако это совсем не означает, что *всякий* опыт есть *чувственный* опыт, т. е. что он *состоит* в восприятии *вещи телесными «чувствами»*. Бесспорно: всякий чувственный опыт есть опыт; но далеко не всякий опыт есть опыт чувственный. И вот, философия творится именно *нечувственным опытом*; в этом *вторая аксиома философской методологии*.

Душа человека может испытывать и фактически испытывает многое *не* чувственное. Правда, обычное сознание занято по большей части чувственными восприятиями: оно-то живет непосредственно в наплывающих извне звуках, красках, пространственных образах и ощущениях своего тела, ориентируясь через их посредство в мире вещей и строя по ним свою жизнь; то оно занято тем, что воображает поблекшие тени воспринятых вещей, возрождая их из прошлого и подчас разжигая еще сильнее их яркость. И даже тогда, когда она имеет дело с нечувственными предметами, она воспринимает их в их чувственном воплощении, подставляя вместо общего – частное и вместо идеи – одноименный образ, осуществляя волевой порыв телодвижением, выражая напряженное чувство смехом, рыданием, воплем.

Даже «отвлеченное» мышление обычного сознания бредет по чувственным образам и схемам; и двигаясь в лесу понятий, оно опирается на чувственные костыли и спотыкается о чувственные образы.

Тем не менее и оно имеет дело с нечувственными содержаниями. Конечно, сенсуальные образы вещей проникают глубоко в бессознательное человека; они служат ему легким, гибким орудием, то радуя дух созданным совершенством, то угнетая душу загадочными ночными страхами. Но в то же время они легко блекнут, тают и исчезают в неопределенности. И именно тогда, когда они становятся совсем неопределенными и неуловимыми, каждый из нас может заметить, что *дух иногда продолжает жить с интенсивностью, не соответствующую чувственной бессодержательности акта*. Дело не сводится к тому, что душа «продолжает волноваться» под воздействием *забытых* ею, т. е. вытесненных в бессознательное, *чувственных содержания* ний. Здесь можно обойти вопрос о том, сохраняет ли чувственное содержание свою сенсуальную природу *после того*, как акт вытесняющего забвения отрывает его от ощущающих и воображающих сил души, сберегая его аффективные следы и его травматическое влияние на весь строй души. Можно даже *условно* принять, что *всякий* душевный процесс нуждается в качестве возбuditеля или разрядителя в чувственном раздражении или восприятии. Но даже это условное допущение отнюдь не предрешит еще вопроса о том, *исчерпывается ли весь объем души чувственными* содержаниями? Если даже допустить, что душа просыпается *только* от сенсуального толчка или воздействия, то остается еще возможность, что этот толчок пробуждает в ней *нечувственные акты* и соответственно *нечувственные содержания*. Повод не предопределяет еще свойств результата; пробуждающаяся сила может быть инородна возбuditелю. Именно этому благодатному восхождению души от чувственного восприятия к нечувственной жизни и был посвящен в древности пафос Платона.

На самом деле силы души могут быть заполнены *нечувственными содержаниями*, т. е. такими, которые лишены не только пространственно-материального, но и протяженно-образного характера, и не имеют для себя *никакого*, не только «адекватного», но даже «подобного» чувственного коррелата.

Так, самый *строй содержаний*, открывающихся логически-зрелому *мышлению*, имеет нечувственную природу и являет зрелище, привычное оку нечувственной мысли, но невидимое для глаза, взирающего на вещи. Современная логика, в лице Гуссерля, следуя за Больцано, убедительно показала, что человеку доступно, при известной внутренней культуре, *безобразное мышление* и что именно такому и только такому мышлению открывается строй понятий, во всей его законченности и чистоте. Понятие и вещь, смысл и образ предметы различных измерений. Чувственной вещи свойственно непрерывно меняться: понятию и смыслу свойственно ненарушимое *тождество*. Различие чувственных содержаний и вещей доходит только до противоположности; различие понятий всегда закреплено остротой *противоречия*. Только нечувственное содержание и нечувственный предмет могут иметь логический «объем» и логическое «содержание»; только им может быть свойственна «родовая-видовая» связь; именно они слагаются в логические «суждения – тезисы»; только при их помощи можно строить силлогизмы, доказывать, познавать и спорить. Примешиваясь к этому строю, чувственные образы отчасти искажают его, отчасти подчиняются ему, но *отнюдь не совпадают* с ним и не отождествляют своих законов с его законами. Зрелая мысль видит инородность и специфичность этих рядов; незрелая душа блуждает, смешивается и запутывается. И тем не менее *всякий* человек, поскольку он *умозаключает* или *спорит*, имеет дело с *нечувственными, логическими* содержаниями, как бы беспомощно, сбивчиво и недоуменно он не обходился с ними. Именно в этом нечувственном виде мыслитель познает *истину*, ибо истина есть всегда *истинный смысл*, подлежащий закону тождества и закону внутренней непротиворечивости. Итак, истина имеет нечувственную форму, и путь к ней ведет через восприятие нечувственных содержаний.

Далее, и *воле* доступны нечувственные содержания. Обращаясь к какому-нибудь содержанию и приемля его, воля делает его *целью*, т. е. предвосхищаемым предметом своих творческих напряжений. Это предвосхищение и творчество может относиться к

вещественно-чувственным явлениям, но может возводить душу и к нечувственным обстоятельствам. Такова, например, воля к истине. Но еще доступнее для обычного сознания *воля к добру*, также возводящая душу к особым нечувственным содержаниям. Когда добро является искомым и осуществляемым заданием, то душа имеет перед собою проблему *объективной ценности* своей цели и обуславливает приятие цели именно ее объективную ценностью; она вопрошает о нравственно-наилучшем, *совершенном*, и к нему применяет свою волю. Это вовлекает волю в особое ценностное измерение действий и состояний, и делает предметом ее особое *нечувственное качество*, именуемое *нравственным совершенством*. Нравственное совершенство обретается особым нечувственным органом души, именуемым *совестью* и не поддается никакому чувственному восприятию. Совестьный акт, имеющий сложную, эмоциональнопознавательную, но прежде всего, *волевою* природу, заставляет человека воспринять нравственное *совершенство* как *живую сверхчувственную силу* – сначала в самом себе, а потом и в других людях; и на этом пути душа вовлекается в особое, опытное, но нечувственное созерцание мира и привыкает вращаться среди тех содержаний, нечувственный строй которых может быть ориентирован на чувственных явлениях и образах, но отнюдь не совпадает с ними своим строем и своими категориями. Таково, например, обстояние *нравственной правоты, побеждающей в жизни вопреки своему житейскому бессилию*. Великие создатели этики всегда утверждали, что совестьный опыт вводит душу в новый порядок бытия, как бы ни охарактеризовать этот строй – как «даймонический», вместе с Сократом, или как «нравственный миропорядок», вместе с Фихте, или же как сферу «всеобщей воли» вместе с Гегелем.

Добро есть нечувственный предмет; совесть есть живой орган, открывающий к нему доступ. Поэтому *всякий* человек, поскольку он не стал жертвой исключительной, сатанинской злобы, поскольку он способен видеть нравственно лучшее и желать его, – имеет дело с *нечувственными, эстетическими содержаниями*, как бы беспомощно и сбивчиво он ни обходился с ними.

Подобно этому человеку доступен целый ряд *аффектов*, посвященных нечувственным содержаниям. Напрасно было бы думать, что аффекты души могут пленяться и возгораться только от восприятия вещей или их протяженных образов. Если даже обычно страсть человека прилепляется к внешней видимости, то это еще не значит, что ею не руководит в этом смутное искание сверхчувственной сущности. *Искусство* обнаруживает это искание с несомненною определенностью и силою: ибо то, что вынашивает и осуществляет истинный художник, есть всегда обстояние, несводимое к чувственной видимости его произведения. Художественный аффект, приводящий в движение творческую фантазию, всегда глубже своего чувственного повода; так, что предметное содержание эстетического произведения никогда не исчерпывается его чувственно воспринимаемой матернею. Истинный художник ищет не «удачного» выражения и не «красивого» сочетания, но *красоты*: он стремится *явить сверхчувственное, предметное содержание своего аффекта* в виде адекватного, чувственно-единичного образа, «красивость» и «удачность» которого могут быть только порождением сверхчувственного предмета, уловленного в адекватном опыте. Такова природа всего художественного.

Однако жить сверхчувственным содержанием дано не только аффекту, обращенному к *красоте*, но и аффекту, религиозно обращенному к *Богу*, этически обращенному к *добру* и познавательно обращенному к *истине*. Молитва, умиление, покаяние, мировая скорбь, сомнение и очевидность – вот состояния души, которые доступны всем людям и в которых аффект одержим сверхчувственным содержанием. Историк духовной жизни достаточно указать на молитвенный экстаз брамина, на одухотворенный эрос Сократа, и на ту «интеллектуальную любовь к Богу», о которой говорил Спиноза: а христианину надлежит вспомнить о том поклонении «духом и истиною», которому учил Христос.

Наконец, самое *воображение* может быть посвящено нечувственным содержаниям, – и в повседневной жизни, поскольку человек воображает себе душевные состояния своих ближних, и в искусстве, поскольку оно изображает состояние человеческого духа, и в религии, поскольку душа восходит к созерцающему восприятию Божества, и в философии, поскольку воображение покорно следует указаниям безобразной мысли или сверхчувственного воленапряжения.

Все это означает, что старая классическая формула «*nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu*»^[1] (здесь и далее – ссылки в конце текста) – неверна; и не только потому, что она принимает генетический повод переживания за самое содержание возникшего акта, но и потому, что *сенсуальность* отнюдь не есть черта, свойственная *всем* содержаниям души и духа. Здесь недостаточна даже оговорка «*nisi intellectus ipse*»;^[2] ибо дело не только в том, что сам познающий интеллект имеет нечувственную природу, но в том, что дух человека *может* и *должен* иметь дело с нечувственными содержаниями и через них – со сверхчувственными предметами.

Духовная же значительность этого опыта говорит сама за себя.

5

Значительность этого опыта определяется самою природою его предметов. Философия исследует сущность самой *истины*, самого *добра* и самой *красоты*; она исследует самую *сущность бытия* и жизни, вопрошая об их сверхчувственной первооснове; она исследует самый *дух человека* и природу его основных *актов*, воспринимающих эти предметы; она исследует *право*, как необходимый способ духовной жизни, как естественный атрибут человеческого духа. Иными словами, она исследует божественную природу во всех предметах и, наконец, восходит к познанию самого *Божества*, как единого лона и источника всего, что божественно.

Все эти предметы философия утверждает как сверхчувственные и в то же время как *объективно обстоящие*; причем недоступность их для телесного восприятия нисколько не умаляет их объективности. Сверхчувственный предмет объективен; это значит, во-первых, что он сохраняет свой особый *способ* обстояния, отличающийся от того способа, который присущ его отражению в человеческой душе (*категории* предмета не совпадают с *категориями* одноименного «содержания сознания»); это значит, во-вторых, что он сохраняет свои *самобытные черты и качества* в отличие от тех, которые человек приписывает ему по недоразумению (*содержание* сознания может не совпадать с *содержанием* предмета); это значит, в-третьих, что он сохраняет свое *единство*, несмотря на множественность тех субъективных актов, которые направлены к его восприятию и тех содержаний сознания, которые человек нарекает его именем. Так, *понятию* свойственно обстоять по категории тождества, несмотря на то, что философы не раз приписывали ему процессуальность и изменчивость; так, *праву* совсем не присуща черта насильственного принуждения, несмотря на то, что юристы не раз приписывали ему эту черту; так, *Божеству* свойственно объективное единство, несмотря на множество субъективных религиозных воззрений и концепций. *Добро* едино, хотя история создала множество «этических учений»; *красота* объективна, хотя художники видят ее «субъективно» и осуществляют ее по-своему; и *самая жизнь человеческого духа* имеет трагическую природу, вопреки всем попыткам изобразить ее как идиллию.

Понятно, что объективность сверхчувственного предмета усматривается не всеми и познается немногими. Исследование его требует особого подхода, о собого восприятия, особой культуры воли и внимания; оно возможно только при спецификации душевно-духовного опыта и удается только тому, кто выработал в себе *умение внимать сверхчувственному предмету*. Исследуя свой предмет, философия начинает с реального восприятия и подлинного опыта; она останавливается первоначально на единичном восприятии и добивается в его пределах адекватности, стремясь воспринять предмет, как он есть *на самом деле*, т. е. так, как он есть *для всех и каждого*, т. е. так, как он есть *сам по себе* и как, следовательно, он должен быть правильно и адекватно воспринят всеми; этим

она как бы переселяет содержание предмета в среду испытующей души, чтобы вслед за тем сосредоточить все внимание на усмотрении *сущности* этого адекватно испытанного содержания, на уловлении ее – мыслью и на выражении ее – словом.

Все это удастся, конечно, не сразу, не всегда и не при всяких условиях; это требует большого напряжения всех сил души, и притом не только позитивного, но и негативного напряжения, т. е. и в смысле интенсивного *участия*, и в смысле произвольного *задержания* той или иной функции. Здесь бывает необходима и своеобразная, утонченная, индуктивно-экспериментальная проверка внутреннего опыта – то скепсис и осторожное, крадущееся вопрошание, то наблюдение за собою, самоанализ и *humor sui*,^[3] то забвение о себе и сосредоточенное погружение в непосредственное переживание предмета.

Но и этого мало. Философ больше, чем всякий другой ученый, должен *овладеть силами своего бессознательного*, очистить их, придать им гибкость и покорность, сделать их совершенным орудием предметовидения.

В древней философии, и ранее еще, в древних религиях, была выношена уверенность в том, что человеку, ищущему познать подлинную природу высших предметов и ценностей, необходимо осуществлять в постоянной внутренней работе особое *очищение ума и души*. Человечество долго и мучительно отыскивало верные пути к такому очищению. История этих исканий полна глубокой значительности: начиная от аскетических упражнений индийских йоги, искавших духовной чистоты через волевое покорение индивидуального тела, она восходит к греческим мистериям с их искупительными жертвами, покаянием и символическим восхождением от мрака к свету. Древние народы знали государственно-узаконенные обряды, совершавшиеся ради очищения души всякого, ищущего в жизни предметной чистоты. Христианство, сосредоточившее внимание человечества именно на его внутренней жизни, установило посты, учредило исповедальни и очищающие, подъемлющие душу таинства. И когда современная наука в лице князя С. Н. Трубецкого глубокомысленно связывает историю философии с историей религий и мистерий, то она движется по верному пути: ибо *философия с самого начала приняла в себя тот самый предмет, в аффективно-иррациональном переживании которого пребывала религия*. Философия, по слову Гегеля, есть культивирование *религиозного содержания*, но в иной форме – в форме систематического опыта и разумного, очевидного и адекватного, мыслящего *познания*.

Вот почему еще древние философы унаследовали от религии, вместе с предметом, *идею очищения души*; а история превратила ее в глубокую и утонченную традицию. Достаточно вспомнить мистерии пифагорийцев и их деление адептов на «акусматиков» и «математиков»;

или учение Гераклита о том, что познание божественного огня доступно только душе, обладающей «сухим блеском»; или требование Парменида об отречении от чувственных восприятий и об обуздании воображения мыслью. Недаром Сократ соединял познание добра с воспитанием души к добру и, следуя за дельфийским богом, начинал с «самопознания»; недаром Платон чтит мистерии и учил о том, что философ при жизни умирает для земного мира; недаром Аристотель требовал от философа высшей, дианоэтической добродетели. Это искание живет и в новой философии; достаточно вспомнить медитации Декарта или глубокомысленный трактат Спинозы об «очищении интеллекта». Фихте прямо высказывает эту связь между *знанием* философа и его жизненно-духовным опытом: человек выговаривает в философии только то, что он сам творит духом и жизнью; а Гегель дает немало тонких указаний человеку, ищущему подлинного философского созерцания. Наконец, современная наука о душевных болезнях, в лице осторожного и зоркого Зигмунда Фрейда, открывает *психоанализ* как метод, которым человек может не только исцелить и очистить свое бессознательное, но и сообщить своему духу органическую цельность, чуткость и гибкость.

В жизни философа душа является *орудием богопознания*. Естественна и необходима забота о здравии, чистоте и гибкости этого орудия, о его непомраченности и свободе. Целостно испытать сверхчувственный предмет значит сделать свою душу одержимую им. Но для этого душа должна быть способна к произвольному сосредоточению внимания, к непредвзятому подходу, к целостной преданности предмету, к легкой покорности его зовам и откровениям; она должна владеть – и бурями своих страстей, и своими жизненными предрассудками, и своими житейскими попечениями.

Философ должен выковать себе *свободу духа* для того, чтобы наполнить ее силою и славою своего Предмета и на этой силе утвердить энергию своего познания и своего жизненного акта.

Человечество веками вынашивало уверенность в том, что философия есть знание *ценнейших* предметов в их основной сущности; что это знание требует особого, внутреннего нечувственного *опыта*; и что добиваться его адекватности необходимо посредством особого внутреннего *труда* и жизненного *очищения*. И человечество не ошиблось в этом. Все люди различны и своеобразны; каждый чувствует, желает, воображает и думает по-своему; и у каждого желания и чувства руководят воображением и поставляют мысли такой опыт и такие содержания, которые, может быть, субъективно наиболее приемлемы, приятны, а объективно – нередко наиболее неприемлемы. Но, при всей этой пестроте субъективных состояний, *предмет* остается *единым, объективным и для всех общим*. Люди различны; но предмет один и истина одна. Отсюда необходимость приспособления субъективного своеобразия к объективной природе предмета, необходимость адекватного «переселения» предметного содержания в личный опыт. Для того чтобы верно познавать, философ должен *жить* так, чтобы его предмет становился его *собственным* жизненным содержанием; он должен *жить тем, что познает*; так, чтобы его *личная жизнь* стала *жизнью предмета* в нем.

Такова основа философии, усмотренная еще пифагорейцами и Гераклитом, выношенная Сократом и Платоном, и возрожденная Спинозой, Фихте и Гегелем. Только через признание и соблюдение ее возможна и *философия, и история философии*.

Философия как наука возможна только тогда, если возможен *спор* о ее предмете; а спор есть *предметное* состязание об истине, допускающее с самого начала, что предмет *един* для двух субъектов, то он *общ* им, и что они могут *одинаково воспринять* его, *одинаково зажить* им и *тождественно формулировать* его объективное содержание.

История философии имеет смысл только тогда, если люди, разобщенные душою, эпохою, культурою и языком, пространством и временем – имеют дело с единым, *общим предметом* и могут одинаково переживать его, понимать *видение своих предшественников*, усваивать его и видеть благодаря этому больше, чем виделось ранее; и так накапливать богатство истинного знания.

Философия и история покоятся на *живом испытании сверхчувственных предметов*, и притом *важнейших и ценнейших в жизни человечества*. В этом основная природа обеих наук; отсюда и возможность их преподавания.

6

Все это с очевидностью свидетельствует о том, что философия как наука, основанная на *предметном опыте*, не только не чужда жизни, но связана с нею глубочайшею и драгоценною связью. Настоящая, большая философия, заслуживающая своего имени и ведущая к действительной мудрости, слагается в предметном переживании им верном познании тех *ценностей*, через которые самая *жизнь человеческая* получает свой смысл и свое значение; она исследует то, *ради чего человеку и человечеству* только и *стоит жить на земле*; и исследование это требует от исследователя *подлинной жизни в предмете*.

Именно *опыт* делает философию *наукою* и вводит ее в глубину *жизни*. Ибо наука вообще невозможна вне опыта; она питается опытным переживанием предмета, его *систематическим восприятием и созерцанием*. Систематическое восприятие есть уже,

само по себе, *живая и жизненная практика*, воспитывающая душу и населяющая ее предметными содержаниями. Но философ вводится этой практикою именно в те предметные содержания, через которые жизнь человека есть *жизнь*, а не быт, не прозябание и не пресмыкание. Ибо, на самом деле, жизнь человека есть не игра естественных сил и не беспринципная борьба за существование, но *творческий процесс*, протекающий *пред лицом Божиим* и при участии *божественных сил*, живущих в человеке. Жить значит сочетать, соединять подлинную *ценность* с подлинною *силою*; придавать объективно-ценному природу силы и сообщать силе значение объективной ценности и правоты; иными словами: осуществлять *ценность*, как *побеждающую силу* и осуществлять силу, как *духовную ценность*. Но именно таково признание философии, которая исследует *все* в меру его *божественности* и тем *населяет души людей божественными содержаниями*. Вот почему она является настоящим источником великих жизненных *убеждений*, без которых нет и не может быть достойной жизни для человека. Ибо нельзя иметь убеждение по приказу; не стоит иметь убеждение по суеверию или из страха; его можно иметь только по *самостоятельно испытанной очевидности*. И вот, философия, приемля в себя предмет религии, имеет задание открыть *каждому* доступ к *самостоятельному испытанию очевидности* в вопросах *высшего и последнего жизнеопределения*. Этим она соблюдает *автономию личного духа*; но этим она соблюдает и *предмет* религии, преодолевая всяческий нигилизм, релятивизм и беспринципность. Предметный опыт философии есть путь достойный и человеческого духа, и его божественного предмета.

Итак, в основе философии лежит систематическая практика духовного опыта. Однако этот опыт, ведущий философию, совсем не является достоянием замкнутой коллегии ученых. Напротив, философия, посвящая себя специально этому опыту, может явиться только там, где народ вынашивает или уже выносил зрелый духовный опыт. Быть ученым, быть философом – есть, конечно, состояние личное, индивидуальное; но иметь науку, иметь философию, религию, искусство, нравственную культуру, государство – есть состояние всенародное, национальное. Духовная культура не есть личное, или групповое, или классовое достояние; в своих истинных достижениях она даже сверхнациональна. Но по своему опытному источнику, по своему творческому ритму и по своему своеобразию она *национальна*, а в пределах единой, духовно сопринадлежащей нации, она *всенародна*. Духовная культура народа определяется тем, живет он *духовным опытом* или нет; и если живет, то в лице большинства, или меньшинства, или отдельных, исключительных индивидуумов; и притом интенсивна и предметна эта жизнь или нет. Этим-то состоянием всенародного духовного опыта определяется и судьба национальной философии.

Так, народ, утративший или выродивший свой подлинный и чистый религиозный опыт, будет жить, вместо религии, пустыми суевериями или мертвыми обрядами; слабый в молитве, немощный в богоиспытании, он будет мертвенно-бесплоден и в *богопознании*: его *философия* будет иметь скудный и бледный сверхчувственный опыт о Боге, а его философия религии будет нагромождать пустые и мертвые выдумки. Подобно этому, народ бессильный в созерцании красоты, с незрелым, больным или изуродованным вкусом, будет иметь убогое, уродливое, безобразное *искусство*; лишенный органа к прекрасному, беспомощный в художественном творчестве, он будет не в состоянии ни осмыслить эстетическую функцию души, ни осветить мыслью глубину эстетического предмета. Народ, не выносивший зрелого правосознания, не создавший сильной и духовно-верной государственности – не может иметь подлинной и предметной *философии права*: она зародится только тогда, когда для него придет эпоха великой борьбы за правосознание и за настоящую государственность. Там, где царят грубые, жестокие нравы, где молчит любовь и дружба, где царит корысть и беспринципность, не расцветет философское учение о добре; ибо *знание* всегда было и всегда будет зрелым завершением

опыта, а духовный опыт нуждается в национальной лаборатории и возрастает лишь в атмосфере всенародных достижений.

Философ, подобно поэту, художнику и ученому, подобно политику и пророку, питается, – сознательно или бессознательно, *volens aut nolens*^[4] – духовным опытом своего народа. Он имеет *родину*, т. е. национальную духовную культуру, в которой сложился его индивидуальный дух, с его любимыми и ведущими предметными содержаниями, с его творческим актом, с его жизненными убеждениями; от этой-то духовной культуры питается – и положительно, и отрицательно – его личный опыт и его личное познавательное творчество. Личный духовный опыт философа в глубине своей связан *происхождением, подобием и взаимодействием* с опытом его родного народа; ему удастся выработать этот опыт и мобилизовать его, осуществить и осмыслить тем легче и тем продуктивнее, чем выше и зрелее духовный опыт его народа. Совсем не случайно, что есть народы, *еще* не имеющие или *уже* не имеющие своей национальной философии; напротив, это естественно и понятно. Учение о *добре* нуждается в том, чтобы нравственность народа выработала себе известный устойчивый уровень не только порока, но и *добродетели*; и если этот уровень настолько низок, что *совесть* – этот орган испытания добра – пребывает в национальном омертвлении и жизненном бездействии, то даже нравственно-гениальной натуре будет трудно подняться до зрелого учения о добре и зле. Подобно этому, философское учение об *истине* нуждается в том, чтобы *научное знание* достигло в других отраслях высокого и зрелого уровня: ибо *теория познания* вырастает только там, где скопился *опыт истины*, а этот опыт вынашивается не одним философом, а *всеми учеными и всеми мыслителями* данного народа. Так, сокровищница духовного опыта едина и национальна, и философ по своему призванию есть его хранитель, углубитель и истолкователь.

То же самое совершается во всех областях духовной жизни: народ создает своим духовным опытом то содержательное богатство и ту духовную среду, в которой зреет и творит индивидуальный дух героя, художника и пророка; народ сообщает своим философам самый подход к духовному опыту, а философ дает своему народу *углубление, очищение и осмысление* духовного делания. Жизнь народа слагает ту духовную лабораторию, в которой творит потом его вождь – чувством, волею, воображением, мыслью и деяниями. Отсутствие духовных вождей свидетельствует о временном духовном оскудении нации; и обратно: ибо духовная жизнь народа и его вождей образует некое неразрывное *предметное единство*. *Страдания народа питают мудрость вождя; подвиги вождя просветляют и очищают мудрость народа*.

Этим решается вопрос о связи между философией и жизнью: ибо жизнь есть *страдание, ведущее к мудрости*, а философия есть *мудрость, рожденная страданием*. Иными словами: жизнь, в ее настоящем, углубленном значении, есть вынашивание и осуществление духовного, метафизического опыта, т. е. опыта, посвященного божественному. Философия, в ее первоначальной, опытной стадии, разлита в душах всего народа. Каждый человек, независимо от своего образования и личной одаренности, становится участником национального философского и метафизического дела, поскольку он в жизни своей ищет истинного знания, радуется художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг мужества, бескорыстия или самоотвержения, молится Богу добра, растит в себе или в других правосознание и политический смысл, или даже просто борется со своими, унижающими дух слабостями. Такой человек по *сознанию* своему, может быть, *еще не* является философом, но *по духовному опыту* своему – он *уже* философ. В совокупном, всенародном, духовном делании нет ни одного усилия, ни одного достижения, которое пропало бы даром: ибо всякое усовершенствование, всякое просветление в человеческой душевной ткани незаметно живет, и размножается, и передается во все стороны, никогда не исчезая бесследно. Здесь драгоценно каждое личное состояние: ибо все поступает в единую национальную сокровищницу духовного опыта. Поэтому можно сказать, что *духовный расцвет народа есть расцвет его*

философии; и обратно: где растет и углубляется настоящая философия, там народ уже накопил прочный духовный опыт и продолжает духовно возрастать, там *жизнь* его пребывает на достаточной высоте и высота эта измеряется его *философией*.

Философия рождается в жизни духа и от духовной жизни. Поэтому тот, кто желает творить ее, должен прежде всего начать духовную жизнь; он должен *быть духовно*. Но духовное бытие есть такое состояние, в котором душа *любит* божественные предметы, *радуется* им и *творит* их. Поэтому философ должен прежде *быть духом* и *действовать в духе*; и только это может дать ему *подлинный предметный опыт, энергию мысли и право на знание*.

Ибо философия больше чем жизнь: она есть *завершение жизни*; а жизнь первее философии: она есть ее источник и предмет.

III. О ВОЗРОЖДЕНИИ ФИЛОСОФСКОГО ОПЫТА

1

Когда историк позднейших поколений – через сто или более лет – будет останавливаться мыслью на нашем времени, то он будет изображать его, как эпоху *великой духовной смуты*.

И он будет прав. Потому что человечество в наши дни действительно переживает *смутное время*. В результате долгого предшествующего процесса, истоки и развитие которого далеко еще не опознаны, души людей замутились и всюду воцарилась, по слову русских летописей, «шатость в умах». Человечество в своей массе, т. е. в большинстве составляющих его индивидуальных душ, *оторвалось от духовной почвы* и потеряло органическую живую связь с самым *корнем духовной жизни*. Современный человек не испытывает *главных, священных предметов*, не любит их, не внимает их зовам, духовно не питается ими и не строит ими своего мирозерцания, своего характера, своего жизненного делания. Может быть, он не видит их потому, что не любит их; но может быть и обратно – он не любит их потому, что разучился испытывать и видеть. Во всяком случае он часто настолько не видит их и не любит их, что совсем перестает верить в то, что они *вообще имеются и обстоят*.

Но именно поэтому в душе современного человека или не остается *ничего священного* или же *ничтожное* приобретает значение главного и руководящего. Души людей или духовно слепы и пустынные, и тогда они живут инстинктом, наподобие животных; или же они близоруки и увлечены тленом, и тогда ими владеет судьба всего тленного и суетного. Но именно поэтому в них нет *духовно-состоятельных и предметно-непоколебимых* основ и граней: ни неба, ни звезд, ни горизонта, ни достижения. Нет того, чем действительно стоило бы жить и за что, именно поэтому стоило бы и умереть; нет безусловного любимого, и потому нет священного огня и священного гнева; нет тех высших обязанностей, обязательность которых была бы субъективно-равносильна *неизбежности*; нет и безусловных запретов, от прикосновения к которым душа трепетала бы. Современный человек совсем не живет *духовными необходимостями*, но вращается в пестрых, условных и относительных, не связывающих *возможностях*. Думать, желать, воображать, говорить, слагать стихи и музыку, поступать – всякий волен по своему усмотрению; и все, что бы и кто бы ни сделал, будет одинаково «условно хорошо» и «условно дурно». Ибо современный «культурный» человек настолько «умен» и «образован», что для него давно уже *все условно и относительно*; и чего-нибудь абсолютного, или хотя бы просто безусловно верного для него нет и быть не может. Добро и зло, право и несправедливость, высокое и низкое, правда и ложь, злодеяние и геройство – все это до такой степени спорно, субъективно и условно, «зависит от взгляда и вкуса», что не только *доказать*, но и *различить* здесь что-нибудь – невозможно.

Но именно поэтому за пределами повседневного быта, его мнимых благ и двусмысленных принципов современный человек не видит ни *смысла жизни*, ни *цели жизни*, и не ищет их, и не думает о них. Его воля, внутренне раздробленная и ослабевшая для духовных побуждений и мотивов, гонится за теми мелкими целями, которые

подсказываются ему личными потребностями и страстями, и которые на самом деле не строят жизнь, а только разрушают ее. Ибо за мелкою целью укрывается мелкая, но упорная страсть и извилистая, беззапретная линия поведения. Вихри мелких целей и страстей скрещиваются, ожесточенно борются, условно и временно, полупредательски солидаризируются, вредят друг другу, государству, культуре, человечеству и уносятся временем в то накапливающееся прошлое, которое чревато для всех нас и для наших потомков грядущими бедами.

И в основе всего этого лежит какая-то наследственная духовная разочарованность у людей, никогда и не испытавших того, от чего они отвернулись, наивно поверивших, что духовная слепота есть признак умственной зрелости и бескрыло разлюбивших духовный полет. *Человечество перестало испытывать, видеть, любить и творить главные, священные, зыждущие предметы; оно не верит в их объективную реальность, в их исследуемость, в их сущую прекрасность, в их самоценность, в их жизненную силу, в их спасительность.* И отсюда всеобщая смута, всеобщая шатость, духовное разложение; подлинное горе от мнимого ума.

Слагается порочный жизненный круг: от слепоты беспомощность; от беспомощности несчастье; от не-счастья ожесточение, от ожесточения слепота. А для того, кто духовно слеп, всякое искушение непосильно и все зовы зла неотразимы. Затруднения пространства и времени, законы инстинкта и хозяйственные механизмы доделывают остальное и человечество сползает вниз по наклонной плоскости.

2

При таком положении дел и при наличности такого духовного диагноза, философия наших дней должна выступить и установить, что вопрос *об объективной реальности и объективном значении духовных предметов* есть вопрос *философический* и что разрешить его помимо философии, ее опыта и ее исследования невозможно; во всяком случае – претенциозно, легкомысленно, несостоятельно, смешно. Природа добра, художественной красоты, истины, права и государства, и вообще всех содержаний, совместно слагающих духовно-зримую земную ризу Божества, исследуются философией и *только* философией; это предметы *ее* специальной компетенции; это вопросы *ее* ведения и *ее* решения. Сомнение в бытии этих предметов есть *философическое* сомнение, которое обязано осознать свою природу; отрицание этих предметов есть решение философического вопроса, философски даже не поставленного теми, кто якобы решает.

Философия должна установить здесь свою непререкаемую компетентность и далее явную некомпетентность некомпетентных; и вслед за тем поставить весь вопрос заново и по существу.

Ибо, в самом деле, здесь древняя, исконная, неоспоримая домена философии; здесь ее, именно *ее* опыту открытый, предмет; здесь ее тысячелетняя лаборатория; здесь ее служение, ее сила, ее заслуга и слава. В этой лаборатории все драгоценно и утонченно, все требует облагороженного подхода, очистительного напряжения, предметной сосредоточенности и духовного горения; здесь все сложно, глубоко и ответственно; и *каждый* человек без исключения, по самой духовной природе своей, должен добыть, заслужить, выработать себе доступ в нее. Опасность здесь, конечно, в том, что каждый человек приобретает этот доступ *в самом себе и через самого себя*, в темной непосредственности своего одинокого самоуглубления; и потому он оказывается почти *безнадзорным и бесконтрольным* в своем внутренне-духовном делании; во всяком случае – недоступно замкнутым для большинства. В своей душевной и душевно-духовной жизни каждый человек уединен и непрозрачен; и трудно бывает людям сказать о чужой душе – пещера ли это, в которой тлеет колдовской огонь, или келия, в которой возжена молитвенная лампада. Высказываясь о духе, человек может или совсем не подозревает, что тут нужен особый духовный подход, что здесь особый *опыт*, требующий особой культуры; или, зная это, он может вообразить, что он уже приобрел этот опыт или даже удостоверился в чем-то, тогда как на самом деле он ничего не испытал и ничего не увидел.

Ибо иметь естественное право на духовный опыт и естественную способность к нему не значит еще осуществлять это право и укреплять эту способность.

И так возникает эта, столь распространенная в наши дни, духовная болезнь, сочетающая *самоуверенную претенциозность* в вопросах духа с *наивной слепотой*. Судящие о духе оказываются *само-уверенными*, ибо без общения с предметом, уверенность не может стать *предметно-уверенною очевидностью*. Они *наивны* потому, что не просто не знают духовных предметов, но не знают и об этом своем незнании; и, дважды не знающие, *слепые* и к предмету и к себе, они судят о нем так, как если бы они все видели и знали. Но именно поэтому они *претенциозны*, ибо, неосновательно полагая, они утверждают небытие духовных предметов, тогда как на самом деле они не имеют основания утверждать ни их бытие, ни их небытие.

Так слагается духовная язва нашего времени – эта самодовольная слепота в восприятии земных риз Божи-их; имя этой слепоте – *пошлость*.

3

Этой наивной и претенциозной слепоте философия должна противопоставить *подлинный и предметный духовный опыт*.

Но для этого ей самой необходимо осуществить некоторое самопреодоление.

За последние полвека философия сама почти не работала в своей настоящей лаборатории. Пережив кораблекрушение в морях немецкого идеализма, пройдя через пустыни материализма и узкого позитивизма, философия вернулась домой растерянная и напуганная, удрученная теоретико-познавательными страхами и подавленная неокантианскими вопросами и запретами. Долгое время она не решалась войти в свою лабораторию и подойти к своим драгоценным предметам. Она предалась многолетней гносеологической рефлексии. Ей все казалось, что знание о знании предшествует знанию предмета; что, не изучая самого предмета, можно и должно сначала узнать о том, что такое *знание* и что такое «предмет вообще»; что опытно пустая или не воспитанная душа может извлечь из себя что-то необходимое для знания и науки. И вот, она долгие годы рассматривала свои основные логические категории, принимая их за «орудия» и «инструменты» своей лаборатории: то сомневалась в их пригодности, то чистила их, то располагала их в известном порядке и любовалась ими; то она принималась доказывать себе, что ими можно сделать кое-что, хотя и не главное; и – ничего ими не делала; и вслед за тем она пыталась высказать нечто о предмете, но не *из* предмета, а из анализа своих «орудий» *argioi* и т. д. И все это происходило, по-видимому, оттого, что философия, оторвавшись от предметного опыта, сама потеряла живую уверенность в бытии и в объективности своих предметов; и уже казалось, что, может быть, и в самом деле их нет, как нет и насыщенного ими опыта, а есть только условно допущенные сознанием, имманентные сознанию, предметно-образные содержания...

Эта *гносеологическая рефлексия, не вскормленная живым общением с предметом, была обречена на несущественность, отвлеченность и бесплодность*. Живой опыт философического знания не культивировался; плыть, не вступая в воды предмета, не удавалось, и абстрактные рассуждения о неосуществляемом плавании, были беспредметны и мертвы. Люди, говорившие от имени философии, теряли самое главное – *предметную интенцию* и заботились более всего о *непротиворечивости* и *систематичности* своих произвольных построений, так, как если бы непротиворечивость и систематичность самого предмета были им уже известны с самого начала. Эти рассудочные комбинации обходились без духовного опыта, и соответственно с этим духовная жизнь не получала от них ни углубления, ни чистоты, ни содержательного научения. Понятно, что такая философия только разочаровывала живые души в духовных путях и предметах, и этим только содействовала углублению современного духовного кризиса.

Итак, чтобы помочь человечеству выйти из духовной пошлости, философия должна сначала сама выйти из мертвенной пустоты и отвлеченности. Она должна

мужественно и спокойно вступить в свою древнюю лабораторию и предаться со всею сосредоточенностью, энергиею и чувством ответственности – *исследованию своих основных духовных предметов*. Праздное конструирование возможных и субъективно привлекательных комбинаций должно замениться выдержанным и героическим исследованием *по существу*.

Это значит, что философии предстоит опять положить в основание своей работы *духовный опыт* и для этого *философы должны взрастить его в себе во всей его подлинности и требовательности*.

Ведь настоящая философия ничего не придумывает, не устанавливает произвольно и не строит воздушных замков по личному вкусу и усмотрению. Она исходит от особого и утонченного, но *подлинного и предметного опыта*, добывая его, возвращая его, очищая и познавательно эксплуатируя его, так, как это подобает настоящей науке. С этим опытом она связана как с единственным источником материала, как со своею плодоносящею почвою. Через него она получает и берет свой предмет. Без него она пуста, мертва и даже зловредна.

Этот опыт, как и во всех науках и во всей человеческой жизни, переживается *личною* душевною и душевно-телесною тканью; и постольку он неизбежно и неизменно *субъективен*. Но эта субъективность характеризует только общий способ взятия и осуществления и сам по себе отнюдь не предуснабливает искаженности или ложности взятого содержания. Так, например, испытать логическое понятие значит испытать его лично, пережить его субъективно; но это совсем не значит пережить его искаженно или испытать его ложно. Испытывающий добро и зло еще не обречен тем самым на ошибку; и ликующий от прикосновения к художественной красоте, может быть, пережил ее предметно. Субъективность означает *возможность* заблуждения; но *не* означает *необходимости* искажения. Субъективизм опыта, бесспорно, *опасен* для предметности; но совсем *не враждебен* ей при условиях и тем более не несовместим с нею.

Однако *личный* характер философического опыта не следует рассматривать только как грустную неизбежность, это есть в то же время первая гарантия его подлинности. То, что философ исследует, он должен испытать *сам*, не полагаясь ни на кого другого и на чьи показания. В общении с предметом никто никому никого не заменяет и заменить не может; такой общий закон духа, духовной культуры, всей науки и – в частности – философии. Самое правдоподобное известие из самых добросовестных уст не может освободить исследователя от приобретения собственного, *самостоятельного и непосредственного* предметного опыта. А в философии, где всю работу предстоит начать с самого начала, это требование получает особенное значение. Кто бы, например, ни уверял меня, что совесть дает разным людям разноречивые показания, – я должен сам покрыть это лично-подлинным опытом, не заменяя его ни домыслом, ни воображением. Да и кто же, будучи серьезным философом, поверит другому на слово, что два противоречивых тезиса могут быть вместе истинными, или что здоровое правосознание допускает предательство, или что религиозность по природе своей лицемерна – поверить и не поспешить проверить и покрыть это лично-предметным опытом? Решение придет, конечно, не от личного испытания, *как такового*; хотя *без* него оно тоже не может состояться. Решение придет от некой, имеющей центральное значение, *встречи* между *подлинным составом личного субъекта и подлинным содержанием духовного предмета*, встречи, имеющей произойти в функции и в терминах лично-душевных сил.

Эта встреча и порождает необходимый для философии подлинный и предметный *духовный опыт*.

4

Именно *подлинность* философического опыта открывает его первоначальную, исходную *онтологическую* природу.

Все, что составляет и живет в субъективной душе смертного человека – все имеет психическое *существование*, но не все имеет духовное *бытие*. Ибо духовное бытие

отличается от существования по природе своих *содержаний* и соответствующих им способностей, по *способу* своего *обстояния*, по своей *подлинности* и *силе*. Для того чтобы убедиться в этом, необходимо, конечно, приобрести самый *опыт бытия*; исходить же из одного опыта существования как такового совершенно недостаточно.

Качественное отличие бытия от существования в человеческой душе определяется прежде всего объективную *разнозначительностью* ее содержаний и способностей.

Так душа человека может жить (и слишком часто живет) *ничтожным* и *по-ничтожному*. Она не различает того, что *на самом деле* есть *главное* и *самоценное* в жизни, от того, что на самом деле в жизни не существенно, не самоценно, второстепенно или совсем незначительно; и, не различая, она обращается к субъективно-важному, нравящемуся и приятному, как если бы оно заслуживало настоящей преданности. Тогда жизнь ее слагается так, как если бы мир имел одно только измерение, определяющееся ее личными удовольствиями и страстями, или соответственно удовольствиями и страстями других людей. И весь остальной состав жизни и мира, измеряющийся высшими, объективно-значительными мерилami – достоинством, величиим, благом, красотой, свободой, ответственностью, правом, умудряющим страданием и смертью, – для нее, субъективно, как бы не существует; она его не видит, им не живет, отвертывается от него. Она живет ничтожным: поверхностными содержаниями и незначительными целями, превращая для себя пустяк в главное и воспринимая главное как пустяки. В лучшем случае она прилепляется к ничтожному тою страстною преданностью, которая соответствует и подобает объективно-значительному; она творит кумира. В худшем случае самое предпочтение ее остается столь же ничтожным, сколь ничтожен ее предмет: она *поверхностно* относится к *незначительному*, не входя в глубокие и цельные отношения к существенному и главному. Все ее жизненные содержания оказываются духовно праздны и ненужны; это шелуха без зерна, видимость без сущности, *существование без бытия*: они в высшем смысле *беспредметны*. И жизнь ее протекает в столь же праздном и ненужном перебирании этих беспредметностей, в состояниях эфемерных, духовно бесследных, религиозно мертвенных, слагающих омут скуки и ничтожества; такая душа *существует*, но, по-видимому, *не имеет бытия*.

Для того чтобы *быть* и иметь *опыт бытия*, необходимо жить существенным и по-существенному, *главным* и *по-главному*; для этого необходимы содержания *другой* природы и соответствующие им *другие* состояния. Для того чтобы приобрести опыт *бытия*, человек должен найти в себе те силы и способности, которыми воспримется, переживается и творится *объективно-значительный состав мира в жизни*; и далее он должен сосредоточенно – цельно и интенсивно – зажить этим новым предметом, превращая его в центр или фокус своей жизни. Тот существенно-главный состав мира и жизни, через присутствие которого и жизнь и мир являются ризой Божией, предметною тайною, насыщенным иероглифом, этот состав дается *каждому* человеку, но усматривается, ищется и берется сравнительно *немногими*. Он может быть взят только тем, кто повернется к нему *главным* центром своей личности, последними истоками и корнями своей любви и воли; *главное в предмете* отзывается только на *главное в личной душе* и, отозвавшись, оно вовлекает этот центр личного духа в такие состояния, закономерности и связи, которые в свою очередь оказываются *главными* для всей остальной жизни и судьбы человека. У каждого человека есть некоторые *духовноглавные* силы и способности, которыми он, напрягая их *поглавному* и центрально отдавая себя, может воспринять *существенноглавный* состав мира и жизни. Для того чтобы совершить это – необходимо: обрести в себе исходную, первоначально-данную сферу духовного бытия; перенести в нее центр своего жизненного внимания и делания; подчинить этому духовному центру в себе все остальные цели и задачи и обратиться всею энергиею своего существа к тем особым содержаниям, которые откроются этим духовно-главным силам и способностям души. Обратившись к ним так, человек будет не только «наблюдать» и

«замечать» в интересах описания и познания. Нет; он начнет *по-новому быть*. И эта сфера *нового духовного бытия*, погашающая пустоту былого существования, даст ему *философический опыт* и откроет ему доступ в философическую лабораторию.

Для того чтобы познать духовный предмет, необходимо самому духовно быть и организовывать в себе подлинный духовный опыт.

Ибо содержания, исследуемые философию, имеют особую природу, особое качество, особые измерения. Нельзя испытывать, описывать и познавать их, не имея для этого необходимых и соответствующих духовных органов. Эти духовные органы – очевидность, совесть, правосознание, художественное видение, любовь – в зачатке и в возможности большего, даны каждому; но они должны быть укреплены, приспособлены, изошрены и поставлены в центр жизни тем, кто желает посвятить себя философскому знанию. И тот, кто переместит свой жизненный центр в эти способности и в их осуществление, не только обновит *качество* своих жизненных содержаний, но приобщится новому *способу* быть, с его особой *подлинностью*, своеобразными *законами* и исключительною *силою*.

5

В зачатках очевидности, совести, правосознания, художественного видения и любви каждый человек *уже* имеет в себе особый *способ бытия* – *modus essendi spiritualis*.^[51] От него зависит усмотреть этот способ, принять его и им построить свою личность; или оставить его без внимания и пребыть в ничтожестве существования; или же, наконец, усмотрев эти способности, отвернуться от них, возненавидеть их и утвердить свои личные силы на их гонении и попрании. Первый исход осуществит бытие духа и во благе; третий – бытие духа во зле. Второй исход явит самоопределение духа к существованию вне бытия.

Духовная способность уже и в первоначальном, глухом, неосознанном, не укрепленном своем состоянии, отнюдь *не пуста* и *не бездеятельна*. Но *содержание* ее остается неуловимым для личного сознания и потому проблематичным для него, не определяемым, часто томящимся и томящим душу; а *деятельность* ее остается непризнанной, часто подавленной и потому слабой, неуверенной, отчетливо выступающей только в отрицании – например, укор совести, эстетическое отвращение, критика чужой познавательной ошибки. Однако и в таком виде духовная способность есть *живая сила личного бытия*, чреватая, как сила, всем дальнейшим ростом и формированием. Это есть некая глубокая бессознательно-духовная сфера реальности в человеке, к которой ее носитель не умеет или не хочет обратиться; но именно к ней с изумительной уверенностью обращались и всегда будут обращаться духовные вожди человечества безошибочно ведая чужое сердце и призывая чужую волю к духовному перерождению. Человек *искони* имеет в себе духовное бытие; ему представлено определить себя к нему и утвердиться в нем, или предпочесть иное. Но в этом духовно-эмбриональном состоянии он *уже* при-частен и бытию, и предмету, подобный морю, таящему на дне своем кораллы и жемчуга, которые суть *в* море, и *через* море и *из* моря, но сами не суть море.

Понятно, что духовное бытие крепнет и расцветает в душе и начинает перерождать всего человека, как только он обращается к духовным предметам, приемля их и предаваясь им. Этот процесс состоит в том, что человек, отправляясь от первоначального зерна своей духовной реальности, осуществляет систематическое *единение* с духовным предметом, доводя это единение до *сущего единства*, до *живого тождества*.

Для этого необходимо взять предмет живым опытом, пережить его не в предположении или в гадании, а стать лицом к его лицу и утвердить его в себе *онтологически*. Тогда человек вводит духовный предмет в ткань своего собственного существа, но так, что предмет поглощает душевные силы субъекта, занимая собою всю его восприимчивость, заполняя весь его внутренний горизонт, превращая всякое самочувствие в *предмето-чувствие*. Все, чему субъект может внять, т. е. все, что он может

«принять внутрь», сводится к предмету, на который и переходит не только опытно-познавательный, но и онтологический центр тяжести. Субъект чувствует себя так, что для него самого в нем самом не осталось места из-за предмета; предмет как бы «стал», а субъект как бы «прекратился»; на самом же деле в субъективной, душевно-духовной или даже более телесно-душевно-духовной ткани развернулось *содержание* предмета с его особыми законами и с его живым ритмом. Субъект насыщается духовным предметом так, что *заживает им, как самим собою*; он не отрывает себя от него, не противопоставляет его себе; и когда отличает его вообще от себя, то это состояние рефлектирующего разделения определяет сам, как состояние отпадения, неполноты, недостаточной духовности; ибо полнота духовного опыта определяется, как *живое тождество духовного предмета и субъективного духа*.

Человеку и в обыденной жизни свойственно, как это не раз отмечалось в психологии, произвольно вживаться, сосредоточенно вчувствоваться в содержания опыта, уходя в них до самозабвения или даже художественно отождествляясь с ними. Эта душевная способность, вообще говоря, может ускользнуть от духовного контроля, стать нецелесообразным, капризным психическим механизмом и привести человека к неприятным истерическим явлениям или даже психо-нейрозам. Но, руководимая и организуемая духовно, эта способность является драгоценнейшим духовным даром к саморасширению, самообогащению и духовной объективации. Все великие свершения в духовной истории человечества были осуществлены именно ею; и в частности, настоящий философический опыт состоит именно в *осубъективлении духовного предмета* и соответственно в *опредмечении философствующего субъекта*; в результате этого единения *предмет онтологически овладевает субъектом*, и благодаря этому *субъект познавательно овладевает предметом*.

Тайна подлинного, великого философического опыта состоит в том, что *человек лишь постольку познает философский предмет, поскольку приобщает ему самые корни или истоки своего духовного бытия*. Чтобы познать духовный предмет надо быть или стать *сродни ему*; надо уподобиться ему, приобрести его существенные свойства, стать его живым органом, его верным эхо, его адекватным медиумом, его творческим носителем.

Искренно, интенсивно и цельно переживая какой-нибудь духовный предмет, человек оказывается *одержимым* этим предметом; и если он изволением своего духа приемлет эту одержимость, то он сам становится *видоизменением предмета*. Он и предмет его – суть одно; он пребывает в своем предмете; им предмет его пребывает в нем, но предмет свой он испытывает как нечто большее искры, субстанция больше модуса, всеобщее больше единичного, род больше вида, родина больше патриота. Философский опыт дается только через *самоотождествление духа с предметом*, и притом не через условное или воображенное, или обставленное обессиливающими резервациями отождествление, но через безусловное, реальное, определяющее жизнь и судьбу личности. Философический опыт, как и всякий опыт, должен быть *познавательно предметен*; но он может быть познавательно предметен только тогда, если сам носитель его станет *предметным по бытию*. В этом смысле *философская гносеология* есть подлинная *онтология*: ибо философу необходимо предметно испытывать, чтобы верно знать; и предметно *быть*, чтобы верно испытывать.

6

Подобное доступно подобному и открывается только ему. Если бы в составе человеческого существа не было материи, то ему нечем было бы испытать, увидеть и познать материальную природу внешних вещей: человек до известной степени сам есть вещь и только благодаря этому он может стать естествоведом. Только существо, имеющее *душевное* бытие, способно испытывать и постигать психическое как предмет: способ бытия объекта и способ бытия субъекта должны быть однородны для того, чтобы состоялся предметный опыт. Так обстоит и в духовной лаборатории: если бы в составе человеческого существа не было духовного способа бытия, то ему *нечем* было бы

испытать, увидеть и познать духовную природу «внутренних» предметов; человек, *не* живущий своим духовным составом и потому лишенный духовного опыта, будет обречен на беспредметность, и «достижения» его будут пустою и вредною мнимостью. Именно поэтому *художник*, мертвый духом, будет всегда поэтом пошлости и никакая «талантливость» не спасет его от этого, не заполнит его пустоты и не выведет его на стезю величия; и подобно этому *правитель*, не живущий духом, всегда будет недооценивать духовную автономию как основной закон индивидуального и общественного бытия, и всегда будет склонен пренебречь политикой воспитания и обратиться к деспотическому подавлению свободы; и подобно этому духовно слепая *наука* всегда будет превращаться в ворох ничтожных мелочей, в беспринципную лабораторию, обслуживающую личную жадность и общественный порок.

Но именно поэтому и философ, духовно пустой, слепой и мертвый – есть *не* философ, а софист и лицемер, порочный фантом. Ибо есть звания и призвания, *обязывающие* к интенсивному и цельному духовному бытию: таковы звания священника, пророка, художника, ученого и правителя. Только духовный опыт открывает человеку природу Божества, дает ему доступ к эстетическому предмету, вводит его в предметный ритм мира, указывает ему высшие цели жизни и раскрывает перед ним самое естество человеческого духа в его основных свойствах и законах. Но именно таково и дело философа, сосредоточивающего в себе и религиозный, и художественный, и научный, и нравственный, и политический, и педагогический опыт – весь духовный опыт, во всем его объеме, для его *научного раскрытия*. И подобно тому как священник, художник, ученый и правитель, пребывая на высоте своего звания, являются *живыми очагами духовного бытия*, излучающими огненную энергию, так и все настоящие философы, от Конфуция и Гераклита и до наших дней, всегда были и всегда будут излучателями духовной энергии, очагами подлинного бытия: ибо они являются живыми средоточиями духовного опыта.

Подлинный духовный опыт уже предполагает в душе человека известный минимум духовного бытия и в свою очередь сообщает ей онтологическую *полноту и силу*. Приемля божественный предмет «всем сердцем, всею душою и всем помышлением», человек устанавливает в себе некое *нерасторжимое живое единство с предметом*, которое обновляет его и *делает его чем-то несравненно большим, чем он был сам по себе*. Целостное наполнение чувства делает его чувство *предметным*; целостное приятие волею делает его волю *предметоодержимую*; поглощенное воображение видит невиданное; насыщенная мысль мыслит из неизреченной глубины; органы внешних ощущений различают за преходящими видимостями вещей сокровенную предметную сущность. Вся душа заживает природою Предмета, как свою собственную, утверждая *его* содержание, как *свое* и обновляя тем свои побуждения, свои мотивы, свои мерила, отношения, решения и дела. Предмет своим лучом как бы пронизывает и прожигает душу до дна, сожигая в ней противопредметное, разоблачая беспредметное и насыщая своим светом, своею интенсивностью и чистотою все остальное. Прожженная этим лучом, душа приобретает тот «сухой блеск», о котором свидетельствовал Гераклит, и сама становится как огненный уголь. Эта огненность уже не есть просто ее личная страсть, но *интенсивность Предмета, сущего в ее виде*: она и разгорается и угасает не своею склонностью и несчастьем, но мерою самого предмета. Жизненный ритм одухотворенной души есть *предметный* ритм, подобно тому, как предметен ритм движений в художественном танце. Подобно алмазу, чуть видимому в темноте, но ослепительному в солнечном луче, человеческий дух приобретает неопишемую самобытность и являет сверкающую силу именно тогда, когда он *целостно одержим очевидностью духовного Предмета*. Тогда его ум приобретает, по слову Антония Великого, свою «умную силу» и становится тем «боголюбивым умом», мудрости которого действительно заслуживает великого имени *философии*.

Настоящий философический опыт всегда состоял в *одержимости души духовным Предметом*; настоящее философское видение всегда доводилось до *очевидности*

духовного Предмета. И в основе этой одержимости всегда лежала страстная преданность Предмету, именуемая *любовью*, которая и порождала необходимые напряжения *воли* в испытании, созерцании и познании; и естественно, что воля, доведя Предмет до очевидного переживания, оставалась верною ему и далее: и в слове, и в поступке, и в смерти.

Именно этим объясняется то исконное единение между философией и религией, которое превращалось в их живое и жизненное единство у всех великих учителей и религии, и философии. Это единство определяется формулой: *целостная духовная предметность души*.

7

Естественно, что зрелый философический опыт, доведенный до надлежащей интенсивности, цельности и предметности, сообщает человеческому духу целый ряд свойств, черт и способностей, проявляющих подлинность его бытия.

В духовно-предметном опыте человек находит основу для *верного самоутверждения*: в нерушимое основание своего существа он полагает некое объективно-определенное содержание, которое само по себе *заслуживает* цельной преданности и вот, действительно, эту заслуживаемую преданность от него *получает*. Вживаясь в это предметное начало и вживая его в себя, человек преобретает уверенное чувство своей *объективной правоты* в главном: он утверждает свое сродство с объективным благом, свою однородность и, в конце концов, свое живое единство с ним. Этим он упрочивает в себе *чувство собственного духовного достоинства* и приобщается тому уравновешенному уважению к своему личному началу, незримое присутствие которого предохраняет его от падений и заставляет других людей питать к нему невольное почтение.

От постоянного и напряженного общения с предметом в его душе возникает *живой центр духовных содержаний*, как бы алтарь или храм личного духа, от которого и к которому движется вся его жизнь. Духовный предмет *центрирует* личную душу, сообщая ей такую центральную ценность, которая образует в ней лоно подлинного личного бытия. В нем личная душа имеет критерий истинной реальности; сюда она спасается от пугающих призраков земного существования, чтобы удостовериться в их небытии; здесь она почерпает силу в минуту слабости и страха; отсюда она решается и идет на смерть. Этот центр управляет личною жизнью; или, вернее, *личный дух сам управляется из этого центра*. Руководимый из него «даймоническими» указаниями, философический дух является *автономною* и в то же время *предметно самоопределяющеюся силою*. Предметный центр его личности господствует в нем и он не противопоставляет себя ему; поэтому этот предметный центр есть его *власть*, и в то же время это *он сам*; сила этой власти есть его собственная сила, но эта сила несравненно больше той силы, которою он располагает вне этого центра и помимо этой власти. Предметный центр сообщает человеку некую сверхобычную духовную мощь, простирающуюся и на него самого, и на других людей. И пока человек пребывает в своем предметном центре и живет *из* него, он не испытывает его как инобытие; он воспринимает его *сверхличную* природу лишь с того момента, как он внутренне из него выходит. Именно поэтому даймоний Сократа давал ему одни только отрицательные указания.

Зрелый духовно-предметный опыт, властно центрируя человека, превращает его жизнь в *самостроительство*, а его творчество – в *предмето-осуществление*; в действительности же то и другое совпадает: он чувствует себя подлинно-живущим только в предметном творчестве и, обратно, предметы реализуются именно через то, что он сожигает в их становлении свою жизнь. Его жизнь есть в сущности – жизнь Предмета в нем; так, что исходя от субъекта, можно сказать: личный дух созидает себя при помощи Предмета; а исходя от объекта, можно сказать: Предмет созидает себя при помощи личного духа. При этом единственность предметного центра и главенство его над личною периферией ведет к тому, что искра предметного огня пронизывает все слои личности и

властно сверкая в ее проявлениях придает ей черту высшей *искренности*, прозрачности, правдивости и прямоты. Личный дух, живя из Предмета, не двоится, не колеблется, не делится на обманнные фантомы и не расплывается на множество ничтожных случайностей: он обнаруживает подлинную неделимость и выступает в качестве *организованной индивидуальности*.

Таким образом, духовный опыт сообщает философу черту преимущественной и высшей силы. Дух, утвержденный на Предмете, является не рыхлою средою, не «жидким» началом и не «сыпучим» телом; жизнь его не течет, не обсыпается и не растворяется, она разворачивается в ряд предметных поступков, в неуклонное духовное восхождение. Не его вовлекает, заражает, влечет и гонит поток обстоятельств; но он останавливает собою все воздействия, идущие от инобытия, преломляет их, отбирает, приемлет или отвергает и, формируя, направляет по-новому. Не поводы его подчиняют, а он создает новые причины; ибо он есть больше, чем естественный итог скрестившихся причинных рядов: в нем живет творческое начало, от которого завязываются и уходят в будущее ряды причин и воздействий. Воля его, конечно, не имеет абсолютной свободы; но она всегда сохраняет *свободу неограниченно-превозмогающей силы*: она способна двигаться по линии *наибольшего сопротивления* и, осуществляя это движение, она обнаруживает этим свою независимость, свое единство с *предметною необходимостью* и тем самым свою *предметную свободу* по отношению к чужеродному инобытию.

Это можно называть, если угодно, «силою воли»; однако это есть нечто большее, ибо *сила* ее утверждена здесь во *благ*. Это можно называть и «характером», но *предметным* или *духовным* характером. Ибо духовный опыт воспитывает не просто «сильную» личность, но личность, сильную в предметном служении, которая потому сильна в служении, что служение принято ею добровольно, стало ее свойственною сущностью и превратилась в свободное горение. Именно через это она сделалась больше, чем она сама.

Вынашивая и вынося в себе духовно-предметный опыт, философический дух приобретает особый закономерный жизненный ритм – в чувствовании, в восприятии, видении, мышлении, слове и действии, – который нередко делает его для других странным, темным, недоступным, – то чудесным и неотразимо привлекательным для одних, то неприятным и ненавистным для других. Своеобразие этого личного строя выражается нередко в самом отношении личного духа к его собственному телу, в этой преимущественной властности, независимости, в способности к забвению, отвлечению, не чувствующему уходу. Пребывая в духовном опыте, человек способен не страдать от того, что неизбежно вызывает страдания в других, радоваться без явных причин и испытывать глубокий покой там, где другие изнемогают от мертвящего страха. Имея в себе и перед собою предметную градацию целей и ценностей, он слагает свою жизнь не из субъективных «возможностей», но из духовных «необходимостей», так что он чувствует себя правым только тогда – но тогда уже *окончательно* правым, – когда выбирая и решая пред лицом центрального алтаря, он иначе не может и не хочет, и не может иначе хотеть и не хочет иначе мочь. Именно это центрально-предметное судилище выводит его из царства внешних случайностей и безначально-хаотических внутренних возможностей и уводит его к духовной *необходимости* жизненного ритма и жизненных свершений. Именно это судилище делает его самого компетентным судьей, придавая ему способность к неличным оценкам, проти-воличным решениям и сверхличным поступкам; именно оно ведет его к заниманию окончательных, недвоящихся позиций и научает его пренебрегать вопросами пользы, опасности и смерти. Вступая в эти высшие необходимости по добровольному приятию их через самоотожествление с их источником, он сливает свою личную судьбу с земною судьбою своего Предмета; он утверждает себя в качестве его живого органа и его *победу* полагает в *своей* верности ему. Ибо духовный опыт учит что сущая победа может иметь обличие внешнего поражения и что духовное поражение может принять видимость внешней удачи. На самом же деле духовная, т. е. сущая победа

всегда остается за тем, кто был предметно прав и пребыл до конца в верности предмету. Вот откуда у великих философов возникает этот непоколебимый оптимизм; эта уверенность в том, что с ними не может случиться никакого зла; это спокойное настаивание на том, что победа обеспечена и что поражение невозможно. Этот оптимизм порожден не земною близорукостью или неверным внешним наблюдением; но духовною дальнзоркостью и верным созерцанием Предмета. И древний грек, начертывая на могиле Леонида бессмертное двустипие, провозглашавшее бессмертие умерших, был движим именно этим созерцанием высшей духовной реальности. Именно в предметной правоте человеку дано обетование и осязание подлинного бессмертия, превращающего самую смерть в потенцированное духовное бытие.

Так, недвоящийся духовный ум есть подлинная основа сильного характера, есть подлинная основа философического опыта. Настоящий философ выговаривает только то, что составляет содержание его духовного опыта; он утверждает, прежде всего, свое предметное бытие; удостоверяет его своим предметным деланием; и затем формулирует увиденное в своем предметном философствовании. Таков смысл этого основного философского правила: «*grimum esse, deinde agere, postremo philosophari*».^[6] И только соблюдая это правило, можно понять, почему Конфуций утверждал, что Тао есть источник силы; почему Гераклит требовал огненности от философствующего духа; почему Сократ ушел из жизни победителем, утверждая что «для человека доброго – нет зла ни в жизни, ни по смерти»; почему православная восточная аскетика настаивает на том, что молитва есть источник подлинного знания и подлинной силы; в чем заключается нравственный смысл учения Спинозы о *natura naturans*,^[7] что имел в виду Фихте, когда говорил о субстанциальности субъекта и о «нравственном миропорядке»; почему Гегель настаивал на онтологическом значении ухода личности в субстанциальную всеобщность, хотя бы этот уход получал видимость земной смерти; в каком смысле Шопенгауэр полагал одиночество мериллом духовности – и многое, и многое другое.

8

Таков философский опыт в его, столь простом и в то же время столь сложном, классическом строении и значении. Этот опыт приобретает длительным и целостным деланием – деланием целой жизни. Естественно, что человек, предающийся такому опыту, неизбежно начинает быть по-новому: по-новому воспринимать, сначала одни духовные предметы, а потом через них все остальное – по-новому видеть, по-новому утверждать себя и жить. Он совершает переход в другой способ *бытия*, *μετάβασις εἰς ἄλλο γένος*,^[8] а вследствие этого и в другой способ *деления*.

Духовный опыт, при систематическом и цельном культивировании его, всегда дает человеку *очевидность* и основанные на ней *окончательные убеждения*. Такие убеждения строят личность, обновляют ее фундамент, сообщают ей грани, утверждают ее несломимую силу и уводят ее к *исповеданию* и *поступку*. Только настоящая предметная очевидность порождает настоящую философию; но, раз состоявшись, она пронизывает своим лучом *все* слои души, сверкая и в мысли, и в слове, и в деянии. Призвание философа состоит в том, чтобы *быть одержимым очевидностью духовного Предмета*; но это и значит быть истинно религиозным человеком. Такая одержимость захватывает и определяет всю жизнь человека: она заставляет его – *мыслить* именно то, что имеется в систематически удостоверенном опыте; *говорить* именно то и только то, что испытывается и мыслится; и *делать* именно то, что предметный опыт посылает через видение, мысль и слово. Философ, как и всякий человек, не может не поступать в жизни; но если духовный опыт его подлинен и предметен, то он не может не поступить предметно. Больше, чем к кому-нибудь, к нему относится та истина, что человек есть живое единство своих поступков; та истина, что человек узнается по его плодам.

Именно в этой связи между предметом философии и жизнью философа обнаруживается *научная* природа философического познания. Всякий ученый есть ученый именно постольку, поскольку он одержим *волею* к верному знанию своего предмета и

опытом, посвященным этому предмету и занятым его содержаниями; и успехи наука делает лишь постольку, поскольку эта одержимость предметным опытом превращается в предметную *очевидность*; и удостоверяются эти успехи *экспериментальным* деланием, а закрепляются жизненным применением. И вот философ, как и всякий другой ученый, имеет свой предметный опыт, свою опытную одержимость, свою одерживающую очевидность, свое удостоверяющее жизненное применение. Но только опыт его есть опыт нечувственный, утонченный и безмерно более ответственный; а его жизненное применение состоит не в экспериментах над внешнею вещью, а в активном переделывании своей собственной духовной личности и в жизни по указаниям испытанного духовного Предмета. Философия вмещает и смеет вмещать в себя только то, что сам человек вместил в свой духовный и жизненный опыт. Подобно всякому другому ученому философ обязан и уполномочен мыслить и выговаривать *именно* то, *только* то и *все* то, что он выносил в своем максимально опредмеченном опыте; при этом опыт его есть не только опыт аффекта, или воли, или воображения, но опыт всех строений и всех напряжений, которых требует Предмет, и притом всегда – опыт цельный, начинающийся из глубины и кончающийся на поверхности внешнего проявления. Настоящий философ смеет, должен и призван категорически утверждать только то, что он исполнил полностью (плеромою) своего духовно-жизненного делания. И это делание остается жизненным деланием и тогда, когда оно сводится к безмерно напряженному внутреннему созерцанию при минимальной внешней активности, и тогда, когда оно разворачивается в ряд внешних поступков по отношению к природе или к другим людям.

Это можно выразить так: *орудием* философского познания является *живое существо самого философа*. Это орудие должно быть чисто, гибко, легко и цельно для того, чтобы оно могло стать *живым препаратом самого духовного предмета*. Для того чтобы познать свой предмет, философ должен как бы вылепить его из себя или, точнее, помочь своему существу, и прежде всего своей душе, адекватно вылепиться в образ духовного предмета. Но этот субъективный препарат будет не просто подобием или снимком, или копией, или слепком с философского предмета, но *самим, вживе осуществившимся предметом*; ибо духовный предмет способен быть сразу во множестве, не нарушая своего единства. Осуществившись в чьей-нибудь живой личной среде, он относится к ней так, как эстетический предмет относится к воплотившей его эстетической материи в художественном произведении: личное естество настоящего философа становится художественной ризой вмещенного им духовного Предмета, его верною, сущою явью. Пребывая в духовном Предмете, держа его в себе, человек сам пребывает в его силе, в его ритме, в его раскаляющем и закаляющем душу течении. В этом состоянии он даймоновичен или гениален, и злодейство поистине недоступно ему. Зато ему доступно видение предмета и деятельное обнаружение его: он знает его и именно потому не может не осуществлять его. Именно это имела в виду мудрость Сократа, когда утверждала, что знающий добро не может быть порочен и что добродетель может быть исследована только тем, кто воспитывает ее в себе и творит ее в жизни.

9

На этом пути и только на этом пути может быть правильно поставлен и разрешен вопрос о том, имеют ли духовные предметы объективную реальность или не имеют.

Во всех науках без исключения путь к предмету один – это верно организованный и исчерпывающе осуществленный *опыт*; правила этого опытного исследования, выработанные человечеством, применимы, *mutatis mutandis*,^[9] и в философском исследовании.

Самый вопрос о том, имеются ли вообще такие «духовные предметы», и не исчерпывается ли здесь все содержаниями субъективных переживаний, не может решаться в порядке простой презумпции, и при том, ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Необходимо, прежде всего, организовать в себе их правильное и подлинное испытание и затем приступить к познавательной эксплуатации этого опыта.

Для этого чувствительность личного опыта должно быть очищено, утончено, углублено и расширено; необходимо как бы обнажить нервы духовного осязания, чтобы они могли реагировать на веяние всех духовных зефиров. Надо научиться и привыкнуть внимать утонченным свидетельствам этих органов, уходя в них, как в главные и, в момент восприятия, исключительные, единственные источники самозаселения. Надо понять, что философский *опыт* должен быть приспособлен к природе своих предметных содержаний и организован; что созерцающее *восприятие* его показаний должно быть длительно, настойчиво, повторно, критически проверено; что *описание* увиденного должно вестись с осторожностью, с чувством величайшей ответственности, с напряженной остротой в словоразличении, с величайшей строгостью терминологического выбора и бракования; и что только вслед за тем четкая ясность мысли и целостная верность поступка – могут дать *истинную философическую формулу*.

Лишь после этого позволительно и продуктивно ставить вопрос о *бытии* духовных предметов и о *самом способе* их бытия. Ибо *субъективная духовная анастезия* как реальное познавательное препятствие окажется преодоленной и отпадет. И первое, что исследователь поймет, будет то, почему одни *утверждают* их бытие, а другие – *отрицают*, тогда как, по существу и принципиально, испытать их может всякий... Только осуществляющий опытное общение с ними может измерить всю необходимость, незаменимость такого опыта, всю его доказательно-показательную силу.

Естественно, что исследователю, сомневающемуся в бытии этих предметов, придется сначала пройти через период неуверенности и колебания. Ибо на первый взгляд все то, с чем ему придется и удастся иметь дело, будет «только содержанием его собственного, субъективного переживания». Так, *мысль* его будет переживать безобразный логический смысл; но ведь это и будет как раз смысл, переживаемый его собственным, субъективным мышлением: смысл, помысленный его мыслью, в ней содержащийся и заключенный; «не более». Подобно этому, *воображение* его будет переживать художественный образ; но ведь это и будет как раз вообразенный им образ; имманентный его воображению: вещественный субстрат пейзажа, его *эстетическая материя* окажется вне субъекта, картиною в пространстве; вообразенное *содержание* пребудет в его субъективном акте; где же еще духовный *предмет*? Если я *переживаю* веяние божественного присутствия, естественное право, доброту, то разве это не дает возможность и основание говорить только о моих субъективных состояниях и о пережитых в них, мною осубъективленных содержаниях?.. Где же здесь объективные предметы? Да и возможно ли вообще добраться к ним через сплошную чащу субъективных переживаний и осубъективленных содержаний? А если невозможно, то зачем о них говорить и думать?

Трудность проблемы ясна. Для разрешения ее необходимо *отличить в самом содержании*, распознать *через содержание*, осязать *из-за содержания* – *присутствие самого предмета, его живой ритм, его содержательные качества и его способ бытия*. Необходимо удостовериться с очевидностью, что *духовные предметы*, каждый по-своему, *не сводятся к субъективным* (моим или чьим-нибудь чужим) *пережитым содержаниям*, не совпадают с ними *ни по количеству, ни по качеству, ни по модальности, ни по законам своего ритма и своей судьбы*. Так, надо опытно и окончательно убедиться, что субъективно переживаемых содержаний может и не быть, но что предметы от этого не гибнут; что эти содержания множественны, бесчисленны, а каждый духовный предмет как таковой единен; что эти содержания различны, повторны, часто изменчивы и периодичны, тогда как духовный предмет единообразен и непреходящ; что, наконец, эти содержания могут быть *неверны*, причем самая идея неверности уже таит в себе предположение объективного предмета, тогда как приложение к духовному предмету идеи неверности или ошибочности – несостоятельно и дает бессмыслицу. Кто испытает и увидит это различие, тот *eo ipso*^[10] осязает *за субъективными духовными содержаниями второй*, *поинному сущий и обстоящий план бытия*, не сводимый к субъективному плану и не

разложимый на его элементы. Этот второй план бытия необходимо различить и увидеть наподобие того, как человек уже научился различать и видеть *пространственные* вещи из-за *протяженных* субъективных содержаний, коррелятивно и сходноименно с ними связанных. В этом втором плане и обстоит духовные предметы; они обстоит по другому способу, чем субъективные содержания и потому мыслятся и познаются в других, особых категориях.

Так, разные люди в различные времена то мыслили *идею тождества*, то не мыслили ее; имея ее в виду, относили к ней многообразное, часто ошибочное; сама же идея тождества не становилась от этого ни эфемерною, ни многообразною, ни вздорною. Точно так же различные люди в различные времена то переживали естественное право, то *не* переживали его; обращались к нему неверным или полуверным актом, приписывали ему несоответственное, нарекали его именем свои выдумки и уверяли других и себя, что это так и есть на самом деле; а само естественное право от этого не улечивалось и не искажалось, не становилось ни призраком, ни произвольно меняющимся вздором. Тот, кто думает, что ложное мнение о добре искажает самое добро и что беспредметная фантазия о «божестве» придает Богу на самом деле субъективно-химерические черты, тот обнаруживает только свою полную непричастность духовному опыту.

Напротив, тот, кто различив впервые своеобразные предметные сверкания и следы в субъективных содержаниях, сосредоточится на их категориальном своеобразии, предастся им своею предметною интенцией и доведет себя до очевидности предметного бытия, тот, осмеянный и прожженный этой очевидностью, сохранит не сомневающуюся уверенность в бытии очевидного Предмета. Утвердив себя этим сущим Предметом, став его жилищем и проявлением, питаясь им духовно и как бы излучая его из себя, душа человека впервые измеряет вообще, что значит *подлинно быть* и что значит вести проблематическое *существование* в виде скудного, предметно-пустынного существа. Вживаясь в духовный Предмет, она уподобляется ему, приобретает по-своему его свойства, возвращает в себе новые атрибуты: так, тождество понятия воспитывает в душе твердость и верность себе, определительность и прозрачную искренность; так, настоящее совестное испытание всегда уводит человека к непосредственному, граниутверждающему совестному поступку; так, подлинное переживание естественного права пробуждает в человеке художника естественной правоты; так, художник, одержимый эстетическим предметом, несет в самом себе космическую глубину и ширину, и сам, в непосредственном вдохновении, сверкает лучами Предмета; так, подлинная молитва подлинно преображает человека и внутренне и внешне...

Понятно, что душа, онтологически обновленная общением с Предметом, остро испытывает дефективность и неполноту своего личного существования в прошлом. Понятно также, что она не может иметь ни повода, ни основания, ни склонности к отвержению объективности духовных предметов. Ей легче, естественнее, логически приемлемее допустить, что *она сама*, как таковая, не реальна, чем <то>, что они не имеют бытия.

10

Таков тот путь, на который должна вернуться философия наших дней для того, чтобы возобновить свое древнее и глубокое дело. Это есть путь *возрождения философского опыта*. Здесь необходимо возвращение к положительным основам знания: к *сосредоточенному испытыванию* и *честному, непредвзятому описанию*. Философия должна пройти через эпоху сознательно принятого и осуществляемого *духовного позитивизма*, с его последовательным отречением от суеверия, предрассудка, беспочвенности, отвлеченной конструкции и самодовольной дедукции; с его вниманием к данному, к единичному испытанию, к вос-приемлющему органу и его строению, к показывающему доказательству и обоснованию.

Предметная философия, вскормленная предметным опытом, предметною очевидностью, предметным характером... Вот духовное задание наших дней! Вот один из

ключей к современному духовному кризису! Вот к чему мы должны воспитывать сами себя, и друг друга, и молодые поколения! И теперь это становится осуществимым больше чем когда-нибудь, ибо окружающая катастрофическая атмосфера, уже разрядившаяся потоком страданий, но далеко еще не оскудевшая грозными перспективами, будит в душах заснувшие глубины и разверзает в них заброшенные шахты. А духовно пробужденная душа может сделать многое, что не по силам спящей: потрясенная, воспрянувшая, настороженная, она больше чем когда-нибудь способна внять предметным голосам в ночи и ответить на их зовы и знаменования – приятием и личным перерождением.

Понятно, однако, что для добывания такой философии нужно вскрыть *пути*, ведущие к ней. А это означает, что необходимо возродить настоящую *философическую методологию*; методологию не в смысле системы отвлеченных правил, и не в смысле гносеологической рефлексии вне отношения к предмету; но в смысле *живого описания* того, уже пройденного, но еще не проторенного творческого пути, который *навверное* ведет к испытанию, увидению и познанию духовного предмета. «Ὀδὸς»^[11] значит «путь»; «μενὸς»^[12] – путь вослед чему-то, верный путь к некой цели. Нельзя, нелепо предполагать, что этот путь *уже* известен каждому про себя, ибо, если бы это было так, то духовного кризиса может быть вовсе и не было бы. Но не следует осуществлять этот метод и *молча*, обнаруживая лишь одни итоги, ибо здесь необходима взаимная проверка и исправление, здесь необходимо помогать начинающему и неуверенному в его затруднениях...

Вот почему философия наших дней, восходя к древним истокам и образцам своим, должна начать свой познавательный поход от *экзотерического учения о методе*. Она должна поставить методологический вопрос с величайшей простотой: что следует сделать со своими телесными, душевными и духовными способностями для того, чтобы испытать и увидеть в исследуемой области духовный предмет? какой комбинации душевно-духовных сил при каком направлении их дается в этой области духовный предмет? как возможно здесь узнать и проверить, что предмет действительно взят? какие могут быть признаки того, что опыт состоялся, что очевидность пережита? как воспитать в себе верный, безошибочный, или, если угодно, нормальный духовный опыт в обращении к истине и понятию, к праву и государству, к добру и злу, к художественности и красоте; в обращении к божественному и Богу?

Ответить положительно и определенно на эти вопросы значит развернуть *философию духовного опыта*, необходимо предшествующую *философии самого духовного предмета*. Конечно, оторвать друг от друга эти две стороны философского исследования невозможно; в эпохи духовного полета и расцвета в этом, может быть, не бывает и надобности. Однако история философии знает такие учения, которые почти не доходили до второго задания, и такие учения, которые обходили молчанием первую задачу. Наше время духовного упадка и разложения, время релятивизма и нигилизма, требует предварительного и самостоятельного подхода к первому заданию: ибо как же возможно исследовать предмет, потеряв или забыв пути, ведущие к нему?

можно ли подразумевать наличность и верность опыта у со-исследователя, если он самими отрицаниями своими свидетельствует об отсутствии его? Нет, здесь необходимо заново исследовать состав и строение верного или нормального духовного опыта; не для того, чтобы создать *психологию* духовной культуры, изучающую фактический состав душевных переживаний у определенных индивидуумов, групп или народов; но и не для того, чтобы выдвинуть чисто *нормативное* построение, трактуемое о должном независимо от действительности. Философия духовного опыта будет иметь в виду нормальный, здоровый, и в высшем достижении *идеальный* духовный опыт, который не раз уже осуществлялся и будет не раз еще осуществлен в истории человеческой духовной культуры. Бывало так, что идеальный духовный опыт осуществлялся совсем не философами и не в философии, а великими художниками, героями, святыми, пророками,

или такими, которых народы узнавали и признавали, или такими, которые оставались неизвестными предметовидцами; но бывало и так, что его осуществляли именно философы, которые или рассказывали об этом опыте, или прямо излагали его предметные результаты. Во всех этих случаях *идеал* оказывался осуществившимся *фактом*, а наличный факт являл *одержимость человеческого духа предметною очевидностью*. Все эти явления образуют как бы единую, великую сокровищницу духа, или его пантеон, или горный хребет человеческой духовной истории. Обращаясь к этим явлениям, современный философ должен осуществить *научно-художественную* реставрацию этих персональных очагов духовного опыта; не в виде жизнеописания великих людей, но в виде постижения и *усвоения* того *духовного опыта*, через который воспринимался Предмет и далее для *описания Предмета*, вновь самостоятельно воспринятого исследователем через усвоенный им опыт отжившего гения. Так, сила предметного опыта, осуществленного прошлыми веками, должна быть собрана, осмыслена и претворена новыми поколениями в новое и самостоятельное восприятие Предмета.

Вот почему первая и основная задача современной философии состоит в создании *новой философической методологии* – новой и в то же время по бытию столь древней...

Необходима новая философия *научной очевидности*, отправляющаяся от пересмотра идей *метода* и *доказательства* и освобождающая науку от порабощения чувственному восприятию; это необходимо для того, чтобы осмыслить гибельный фантом противорелигиозной науки и трагическую немощь противонаучной религии; чтобы развязать предметные крылья и науке и религии, и помочь ученому возродить в себе созерцание *своего* предмета при свете великих *духовных* Предметов.

Необходима новая философия *правосознания* и *государственности*, чтобы осмыслить единую, священную природу права и благородную, но трагическую природу политики; чтобы измерить падение современного государства и помочь человечеству возродить предметное общественное строительство.

Необходима новая философия *совести* и *доброты*, чтобы вновь увидеть живое тождество *добродетели* и *ума*; чтобы измерить беду современного нравственного индифферентизма; чтобы помочь человечеству побороть в себе извращенный вкус к порочности и возродить в себе способность быть *счастливым* в *доброте* и быть *добрым* в *несчастье*.

Необходима новая философия *эстетического восприятия* и *художественности*, чтобы вновь утвердить власть эстетического предмета и подчиненность эстетической материи; чтобы восстановить священное назначение искусства, вызвать к жизни очистительную художественную критику и великое предметное искусство; чтобы помочь человеку стать мудрым в непосредственности, стать цельным в вещественности, стать прекрасным иероглифом божественности на земле.

Наконец, необходима новая философия *религиозности* и *откровения*, чтобы вновь открылось замкнутое око человеческое, по старому приемля Бога и по-новому приемля мир; чтобы осветились современные религиозные падения и блуждания и чтобы в религиозном обновлении душ возобновилось одинокое боговидение и соборное богоутверждение.

Философское учение о духовном опыте должно быть осуществлено и осуществится, если не нашим поколением мыслителей, то нашими ближайшими потомками. Они найдут в себе тот бестрепетный ум, который не убоится глубины; то глубокое чувство, которое превратит философию в духовное искусство; то художественное видение, которое найдет для себя новые, небывалые слова. Они вложат в это дело ту умудренную энергию характера и ту преданность духовному Предмету, которые делают философию *подлинным богослужением*.

Тому залог – падения и страдания наших дней.

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

Книга тихих созерцаний ПРЕДИСЛОВИЕ О ЧТЕНИИ

Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать? Поймут ли? Увидят ли то, что он хотел доказать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого зависит так много... И прежде всего – состоится ли у него желанная, духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу?

Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения: глаза бегают по буквам, «из букв вечно выходит какое-нибудь слово» (Гоголь) и всякое слово что-нибудь да «значит»; слова и их значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе что-то – «подержанное», расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно-мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое... И это называется «чтением». Механизм без духа. Безответственная забава. «Невинное» развлечение. А на самом деле – культура верхоглядства и поток пошлости.

Такого «чтения» ни один писатель себе не желает. Таких «читателей» мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл...

Как возникло, как созрело написанное?

Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал – надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что *для всех* нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит – что-то *значительное* о чем-то *важном и драгоценном*. И вот он начинал отыскивать верные образы, ясно-глубокие мысли и точные слова. Это было не легко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго: годами, иногда – всю жизнь; не расстается с нею ни днем, ни ночью; отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы; «болеет» ее темой и «исцеляется» писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и «точности» (по слову Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И, наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом; последние исправления – и книга отрывается, и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть – легковесно-капризному, может быть – враждебно-придирчивому... Уходит – без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своею книгою «наедине».

И вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючками, за этими общеизвестными, поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух – должен из-за них добыть *сам читатель*. Он должен воссоздать в себе созданное автором; и если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то *за него* не сделает этого никто: все будет его «чтение» и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому, что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания *этой* книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание; оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо *чувствовать сердцем и созерцать из сердца*. Надо пережить страсть – страстным чувством; надо пережить драму и трагедию живую волею; в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохам, вострепетать всею нежностью, взглянуть во все глубины и дали; а великая идея может потребовать не более и не менее как *всего* человека.

Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажечь этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом

условии состоится желанная встреча между обоими и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода *художественное ясновидение*, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа – оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутренние «пространства» души, созерцать нематериальное, отождествляться с неизвестными или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность бо-гозданного мира.

Читать – значит *искать и находить*: ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть *творческий* процесс, ибо воспроизводить – значит творить. Это есть борьба за духовную встречу: это есть *свободное единение* с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют «невозможного».

Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено; оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит, ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение разлагающее и обессиливающее.

По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, *что* он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, – как бы букетом собранных нами в чтении цветов...

Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России.

I. ПЕРВЫЕ ЛУЧИ

1. БЕЗ ЛЮБВИ (Из письма к сыну)

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: *сильною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями*? Ты пишешь мне: «О любви лучше не говорить: ее *нет* в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит ее в черствых сердцах?»...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она *сама в нем просыпается и им овладевает*. И это дано нам *от Бога и от природы*. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери – потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью; и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него приветов, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чувствует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами, и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослой любовью к «ней» (или, соответственно, она к «нему»), то задача состоит в том, чтобы превратить это «побуждение природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его, как свою судьбу. И не естественно ли ему любить *своих* детей той любовью, которой он в своих детских

мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная выбирающая сила в жизни*. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить *всем*, что он несет: нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо *выбирать*: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть *любовь*: это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, помогает и блюдет верность. *А воля есть лишь орудие любви* в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, *безразлична к добру и злу*. Она быстро превратит жизнь в *каторжную дисциплину под командой порочных людей*. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без любви: она есть великий дар – *увидеть лучшее, избрать его и жить им*. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишённого этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная творческая сила человека*.

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только *приняв богозданный мир*, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты: он творит *из уже сотворенного*, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества – внешне-материального и внутренне-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться *созерцать сердцем*, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них *Великое – сродное – принадлежащее*, вчувствоваться в него и создавать *новое из древнего и невиданное из предвечного*. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком – было создано из *созерцающего и поющего сердца*.

Нельзя человеку прожить без любви потому, что *самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу*. Только созерцающая любовь открывает нам *чужую душу* для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его *родину*, т. е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ *к религиозности и к Богу*. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов: они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастет из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой

цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии людей, а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть *рожден любовью*, он должен быть сам *ее воплощением* для того, чтобы находить в ней оправдание и меру...

Вот почему я сказал, что ты «и прав и не прав».

И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви не говорить». Это верно: *надо жить ею*, а не говорить о ней. Но вот, посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь – поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной. А это означает, что пришел час *заговорить о любви* и встать на ее защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами...

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы *обречены* со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.

2. О СПРАВЕДЛИВОСТИ

С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать... Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен, – что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно: того гляди «согласишься» «на свою голову» – и что тогда?

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо; каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит *явная несправедливость в его пользу*. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он «совершенно справедливо» относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его

«справедливостью» и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается, «справедливостей» столько, сколько недовольных людей и единой, настоящей Справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить.

Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения; они ведут к насилию и революции, а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в

разочаровании; и иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой.

Однако, все это не компрометирует и не колеблет старую, благородную идею справедливости и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовый борьбе и всякому революционному уравнильству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность.

Французская революция восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться «одинаково»... Этот предрассудок *естественного равенства* является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в *неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми*.

Если бы люди были действительно равны, т. е. одинаковы телом, душой и духом, то жизнь была бы страшно проста и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать: «одинаковым людям – одинаковую долю» или «всем всего поровну» – и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически; и все были бы довольны, ибо люди и в самом деле были бы, как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство – или даже прямая слепота – приводят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья...

*На самом деле люди неравны от природы и неодинаковы ни телом, ни душой, ни духом. Они рождаются существами различного пола; они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания; они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами – люди творят неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы: все они – различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во *всех* отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые *обязанности*: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые *права*: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя *взыскивать* со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и т. д. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди *неравны* от природы, *неравны* по своей силе и способности, *неравны* и по своему социальному положению; и что *справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми*; напротив, она требует *неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей*.*

Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей – бесконечное множество; все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особенности? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как

«воздать каждому свое» (по формуле римской юриспруденции)? Они *не* одинаковы; значит, и обходиться с ними надо не одинаково – согласно их своеобразию... Иначе возникнет несправедливость...

Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует *предметно-обоснованного неравенства*. Ребенка надо охранять и беречь; это дает ему целый ряд *справедливых привилегий*. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые не-герой не должен претендовать. И так – во всем и всегда...

Поэтому справедливость есть *искусство неравенства*. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также *живая совесть и живая любовь* к человеку. Есть особый *дар справедливости*, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке *доброе, любящее сердце*, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души...

Вот почему справедливость есть начало *художественное*: она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним *предметно*. Она «внимательна», «бережна», «социальна»; она блюдет чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с «тактом». Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему *любовна*: она рождается от сердца и есть живое проявление любви.

Безумно искать справедливость, исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравниванию. Безумно искать справедливости в революции, ибо революция дышит ненавистью и мезтью, она слепа, она разрушительна; она враг справедливого неравенства; она не чтит «высших способностей» (Достоевский). А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы *узнавать и беречь высшие способности*...

Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда *все* или, по крайней мере, очень многие станут ее *живыми художниками* и усвоят *искусство предметного неравенства*. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к *органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий*. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость не отвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило *уравнивает*, а не *опредмечивает* (от слова «предмет») жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам «раз навсегда», «для всех людей», «повсюду». Ибо она именно *не* «раз навсегда», а *живой поток индивидуальных отступлений*. Она не «для всех людей», а *для каждого в особенности*. Она не «повсюду», а живет *исключениями*.

Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не «система», а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде *потока живой и предметной любви к людям*. Только такая любовь может разрешить задачу: она будет *творить жизненную справедливость*, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое *предметное* неравенство.

Вот почему в жизни важнее всего не «найденная раз навсегда» справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего *живое сердце*,

искренно желающее творческой справедливости; и еще – всеобщая уверенность, что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни – условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, т. е. художественно-любовная справедливость.

3. ЕГО НЕНАВИСТЬ

Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что «он меня ненавидит»... Какое чувство собственного бессилия овладевает душою... Хочется не думать об этом; и это иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать; и не можешь совсем забыть; и несешь на себе через жизнь это проклятие.

Каждый человек – знает он об этом или не знает – есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидającego общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность.

Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия; воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, «сгуститься» в отвращение и углубиться до ненависти, и притом, совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет...

Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет... Они говорят о личной злобе и предвещают беду; а тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем, и лучи его мрачны и страшны; и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. За ними чувствуется застывшая судорога души; мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собою. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках и мучается от того, что это еще не свершилось... Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что «он» меня не переносит; что «он» с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи; что «он» провел черту разлуки между собою и мною, и считает эту черту знаком окончательного разрыва: по ту сторону черты – он в неутомимом зложелательстве, по эту сторону – я, ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недо-погубленный; а между нами – бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп; и вот, встречает всякое жизненное проявление с моей стороны – убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне; а это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа – совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей – моего искоренения: я осужден, совсем и навсегда, я не имею права

на жизнь. Как это выражено у Лермонтова: «нам на земле вдвоем нет места^[13]» В общем и целом – духовная рана, уродство, трагедия...

Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенеющего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения?

Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство?..

Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия, а вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удастся, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах – их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только *его* несчастье, но и *мое*, подобно тому как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я – ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти; теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту болезненную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить ее.

Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами; и, действительно, совсем не легко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту претрудную задачу... Но одно я знаю наверное, именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только «подарить мне жизнь» и примириться с моим существованием; он должен испытать *радость* от того, что я живу на свете и дать мне возможность радоваться *его* бытию. Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского, «человек человеку – радость»...

Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная любовь ко мне – превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне – в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны ко взаимному уважению...

Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незаживающую рану его сердца, и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его бывших обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной, скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее; хотя бы мне пришлось для этого – искренно и любовно – добыть себе прощение от него.

Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не

следует уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне, я уже все простил и покрыл любовью, примиришь с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие»... Именно с любовью, ибо простить – значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного.

Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями: от *него* ко *мне* и от *меня* к *нему*. *Его* ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба: *он* – потому что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и *я* – потому что я должен смотреть, как он из-за меня мучается; и еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так: поддерживать вторую нить – от меня к нему – крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть; что я не вменяю ему его вражду и злобу; что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить; что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью; и, главное, что моей духовной любви хватает для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая его новым, добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне.

Это, наверное, совершится не легко; вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угмониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе; это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей; то, что по этому поводу рассказывают о святых – не фантазия, не благочестивая легенда. Излучение любви действует умирительно и обезоруживающе; напряжение злобы рассеивается; злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова: любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир вселенной; и даже врата адавы ей не препятствие.

А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной.

4. МОЯ ВИНА

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого больше мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточаться и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное, – доказать не только другим людям, но и себе самому, да, именно самому себе, что «я тут ни при чем» и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете – весь мир, но только не я: враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые условия, «среда» и «влияние», небо и ад, но не я! И это можно доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом «не может быть никакого сомнения»...

Ах, эта предательская «потребность» в самооправдании... Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказательствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я «тут ни при чем»? Кто же требует от меня доказательств? Кто заподозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки

считаю себя виноватым; что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается... Конец малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводила и до галлюцинаций. Но я готов... Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно *мужество*, чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно *смирение*. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе «умнейшей» и «добрейшей» личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиболее благороднейшей стороны? Что за наивность... Откуда эта потребность изображать себя – перед собой и перед другими – всепредвидящим и безошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ «чистоты» и «величия» воссияет под моим именем? Кто из нас свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что *все люди*, без исключения, пока они живут на земле, *соучаствуют во всеобщей мировой вине*; желанием и нежеланием, но также и безволием, и трусливым уклонением от волевого решения, деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским «умовением рук»; чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым безмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира – непосредственно, и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в *едином сплошном духовном эфире*, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия; и посылаем в него свои «волны» или «лучи», даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи, даже и тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание – незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл – излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кащей бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба Яга напрасно развозит в ступе свою злобу. Са-танисты не бесцельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, коими держатся города и царства, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни.

Вот почему на свете нет «виновных» и «невинных» людей. Есть лишь такие, которые *знают* о своей виновности и *умеют нести* свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей *не знают* об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот – давать ему свет и

тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это – *носители мировой вины*, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.

А другие – вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» от своей вины: ибо вина несется за ними, наподобие древней Эринии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в несплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу... И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... Они стремятся доказать себе, что они сами «очень хороши» и «совершенно невинны», что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне – спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые, болезненные часы; но эта боль – очистительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а, может быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде – где у меня не достает любви и прощения; везде – где я забываю о едином «пространстве» и общем «эфире» духа; везде – где я перестаю служить Богу и делать Его Дело или где я, во всяком случае, нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее; и главное, – вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее *чувство ответственности*; которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка.

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто других различных нитей, сцеплений и отношений к другим людям. Медленно разворачивается передо мною ткань общественной жизни; я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия, – и вот я начинаю постигать, что я в действительности «посылаю» в этот общий воздух, и что я из него «получаю». Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь, как длинную цепь виновных состояний и деяний – и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения.

И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению – потребность в этом все более исчезает во мне – но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека и как если бы *его* вина была *моею*. Это

значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую: нести, т. е. преодолевать ее духом и любовью.

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, и нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это – верный путь...

5. О ДРУЖБЕ

У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда естественная, от природы данная нам одинокость вдруг начинает казаться нам тягостною и горькою: чувствуешь себя всеми покинутым и беспомощным, ищешь друга, а друга нет... И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя: как же это так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся и страдал, и, главное, служил великой цели – и не нашел ни сочувствия, ни понимания, ни друга? Почему единство идеи, взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с кем в живое единство духа, силы и помощи?..

Тогда в душе просыпается желание узнать, как же складывается жизнь у других людей: находят они себе настоящих друзей или нет? Как же жили люди раньше, до нас? И не утрачено ли начало дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что именно современный человек решительно не создан для дружбы и не способен к ней... И в конце концов неизбежно приходишь к основному вопросу: что же есть настоящая дружба, в чем она состоит и на чем держится?

Конечно, люди и теперь нередко «нравятся» друг другу и «водятся» друг с другом... Но, Боже мой, как все это скучно, поверхностно и беспочвенно. Ведь это только означает, что им «приятно» и «забавно» совместное времяпрепровождение или же, что они умеют «угодить» друг другу... Если в склонностях и вкусах есть известное сходство; если оба умеют не задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и замалчивать взаимные расхождения; если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, немножко услужить, – то вот и довольно: между людьми завязывается так называемая «дружба», которая, в сущности, держится на внешних условностях, на гладко-скользящей «обходительности», на пустой любезности и скрытом расчете... Бывает «дружба», основанная на совместном сплетничании или на взаимном изливании жалоб. Но бывает и «дружба» лести, «дружба» тщеславия, «дружба» протекции, «дружба» злословия, «дружба» преферанса и «дружба» собутыльничества. Иногда один *берет* займы, а другой *дает* займы – и оба считают себя «друзьями». «Рука моет руку», люди вершат совместно дела и делишки, не слишком доверяя друг другу, и думают, что они «подружились». Но «дружкой» иногда называют и легкое, ни к чему не обязывающее «увлечение», связывающее мужчину и женщину; а иногда и романтическую страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно и навсегда. Все эти мнимые «дружбы» сводятся к тому, что люди взаимно посторонние и даже чуждые проходят друг мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и небескорыстным соприкосновением: они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их «дружба» распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, были ли они раньше вообще «знакомы».

Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга, подобно деревянным шарам. Таинственная судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жизненное пространство в неизвестную даль, а они разыгрывают комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одиночества... Ибо без живой любви люди подобны мертвому праху...

Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой и творческой любви. *Истинная дружба*... Если бы только знать, как она завязывается и возникает... Если бы только люди умели дорожить ею и крепить ее...

На свете есть только одна единственная сила, способная преодолеть одиночество человека; эта сила есть *любовь*. На свете есть только одна возможность выйти из

жизненной пыли и противостоять ее вихрю; это есть *духовная жизнь*. И вот, истинная дружба есть *духовная любовь*, соединяющая людей. А *духовная любовь* есть сущее *пламя Божие*. Кто не знает Божьего пламени и никогда не испытал его, тот не поймет истинной дружбы и не сумеет осуществить ее, но он не поймет также ни верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к истинной дружбе способны только *люди духа*.

Нет истинной дружбы без любви, потому что именно любовь *связывает* людей. А истинная дружба есть *свободная связь*: в ней человек сразу – *свободен и связан*; и связь эта не нарушает и не уменьшает свободы, ибо она осуществляет ее; и свобода эта, осуществляя себя в привязанности, связывает человека с человеком в духе. Самая крепкая связь на земле есть свободная связь, если она слагается в Боге, соединяет людей через Бога и закрепляется перед лицом Божиим. Вот почему в основе каждого настоящего брака и каждой здоровой семьи лежит свободная, духовная дружба. Истинная дружба, как и истинный брак, заключается в небесах и не расторгается на земле.

Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность и истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью принять, что они возникли из настоящей духовной близости. Дружба свойственна только людям духа: это *их дар, их достояние, их способ жизни*. Люди без сердца и без духа неспособны к дружбе: их холодные, своекорыстные «союзы» всегда остаются условными и полупредательскими; их расчетливые и хитроумные объединения держатся на уровне рынка и карьеризма. Истинное единение людей возможно *только в Божием луче*, в духе и любви.

Настоящий человек носит в своем сердце некий скрытый жар, так, как если бы в нем жил таинственно раскаленный уголь. Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом угле и что пламя его редко обнаруживается в повседневной жизни. Но свет его светит и в замкнутом пространстве, и искры его проникают во всеобщий эфир жизни. И вот, истинная дружба возникает из этих искр.

Кто однажды видел пылинку радия, тот никогда не забудет этого чуда Божия. В малом замкнутом пространстве, в темноте, за стеклом лупы, видно крошечное тело, из которого непрерывно вылетают во все стороны подвижные искорки и быстро исчезают в темноте. Легким поворотом винта можно слегка ослабить зажим пинцета, держащего эту пылинку, – и тогда искры начинают вылетать щедро и радостно; зажим усиливается – и искры летят скудно и осторожно. А естествоиспытатели утверждают, что лучевой заряд этой пылинки будет действителен по крайней мере две тысячи лет...

Наподобие этого живет и сверкает человеческий дух; так посылает он свои искры в мировое «пространство». И из этих искр возникает истинная дружба.

Есть люди, для которых слово «дух» не пустой звук и не мертвое понятие: они знают, что в жизни есть «Божии цветы», и что жизнь ими красуется и светится; они знают, что человеку дано *внутреннее око*, способное видеть и узнавать эти цветы; они ищут их, находят их, радуются им и любят их сердцем. Такие люди носят в своем сердце духовный «заряд» и «душевный жар». Их личный дух подобен пылинке радия, излучающей свои искры в мировое пространство. И в каждой такой искре сверкает их любовь и светит сила любимого ими божественного содержания. И каждая такая искра ищет признания и ответа, ибо человеческая любовь всегда требует понимания и взаимности.

Но излетевшая искра духа может быть воспринята и постигнута только духовно живым и искрящимся духом, только таким сердцем, которое само любит и излучает. Холодный мрак поглощает все бесследно. Мертвая пустота не может дать ответа. Огонь стремится к огню и свет тянется к свету. И когда встречаются два огня, то возникает новое мощное пламя, которое начинает шириться и пытается создать новую, живую «ткань» огня.

Истинная дружба начинается там, где излетевшая искра духа касается чужой огненной купины и воспринимается ею. За восприятием следует ответная искра, которая воспринимается первопославшим и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда начинается световой обмен. Искры отнюдь не исчезают в окружающем мраке. Каждая достигает цели

и зажигает. Вспыхивают целые снопы света, пламя разгорается, пожар растет. Свободные дары, творческое восприятие, светлая благодарность... И ни тени зависти. Дух наслаждается своей беззаветной откровенностью. Он знает, что его встретит духовное созерцание и вчувствующееся постижение. Сердце чутко вслушивается и радостно предвосхищает дальнейшее. И пламя Божие справляет на земле свой праздник...

Да, человеческая *душа* одинока на земле и часто страдает от этого. Она может почувствовать себя покинутой и брошенной. Но *дух* человека не мирится с одиночеством. Он укореняется в Божественном, живет для Божьего дела, свободно рассылает свои искры и никакие «стены» ему не страшны. Он не верит в то, что атомное разъединение или распыленная множественность составляет последнее слово человеческого бытия, непреодолимую форму жизни; он не верит, что люди обречены на одинокое блуждание в хаосе, что им никогда не найти друг друга; он не верит в торжество «мировой пыли». Где-то, неизвестно где, когда-то, неизвестно когда, в великом лоне Божиих замыслов и творческих идей он видел некое видение: единое, сплошное море пламени *сонно почивало* в пророческом спокойствии, так, как оно было задумано Богом изначала и призвано к *пробужденному бытию* в грядущем; он узрел это видение – вступил в новое, земное бытие, чтобы проснуться в виде обособленного, единичного «огонька» и начать на земле творческую борьбу за *духовно пробужденное воссоединение человеческого огневого множества*... Ибо человеческие души, эти духовные огни Божии, призваны пройти через индивидуацию и одиночество и вновь воссоединиться в единое, сплошное море – но уже духовно пробужденного огня...

И вот, истинная дружба как любовь, и притом, как духовная любовь, создает первоначальную ячейку этого единства; из таких ячеек духовного огня сложится однажды великое и единое пламя Божие, светлая и радостная ткань Божьего Царства во вселенной...

Вот почему каждый духовно живой человек ищет истинной дружбы на земле и бывает счастлив, если ему удастся найти ее и осуществить. Этим он исполняет завет своего Творца и участвует в совершении Его обетования; этим он участвует в обновлении и преобразении Божьего мира.

На свете есть много людей, которые ничего не знают об истинной дружбе и тем не менее беспомощно толкуют о ней; и не находя к ней пути, и не зная, как осуществить ее, удовлетворяются земною страстной «любовью», обычно вынося из нее разочарование и уныние. Но именно они должны узнать и почувствовать, что они призваны к ней и что она для них достижима. Ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку; – и малейшая искра духовного обмена, в живой беседе, в искусстве, в совместном исследовании или созерцании; – и всякая попытка совместно помолиться единому Божеству единым воздыханием, – содержит уже начаток, зерно истинной дружбы. Лестница начинается уже с первой ступени; и пение начинает свою мелодию уже с первого звука... И как грустно, если жизнь пресекается уже в своем зерне, если лестница обламывается на первой ступени, если песнь обрывается на первом звуке!..

Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истинной дружбы, духовно строить ее и любовно беречь ее. Тогда он узнает, в чем состоит блаженство истинной *верности* и легкая естественность настоящей *жертвы*.

II. ШКОЛА ЖИЗНИ

6. МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Одно мгновение живет этот блаженный шарик... Всего один краткий миг – и конец... Радостный миг! Светлое мгновение! Но его надо создать и уловить, чтобы насладиться как следует; иначе все исчезнет безвозвратно... О, легкий символ земной жизни и человеческого счастья!..

Легкими стопами, тихими движениями, сдерживая дыхание, надо приступать к этому делу: заботливо выбрать соломинку, непомятую, девственную, без внутренней

трещины; осторожно, чтобы не раздавить ее, надо надрезать один конец и отвернуть ее стенки... И потом бережно окунуть ее в мыльную муть, чтобы она вволю напилась и насытилась... Лучше не торопиться. Главное – не волноваться и не раздражаться. Все забыть; погасить все мысли и заботы. Отпустить все напряженные мускулы. И предаться легкому, душевному равновесию; ведь это игра... И захотеть играющей красоты, заранее примирившись с тем, что она будет мгновенная и быстро исчезнет...

Теперь можно бережно извлечь соломинку, отнюдь не стряхивая ее и доверяя ей, как верному помощнику; затем набрать побольше воздуха, полную грудь... и тихо, тихо, чуть заметным, скудным дуновением дать легчайший толчок рождению красоты...

Вот он появился, желанный шарик, стал наполняться и расти...

Не прерывать дыхания! Бережно длить игру. Ласково беречь рожденное создание. Чутким выдохом растить его объем. Пусть покачивается чуть заметным ритмом на конце соломинки, пусть наполняется и растет...

Вот так! Разве не красиво? Законченная форма. Веселые цвета; все богаче и разнообразнее оттенки красок. И внутри играющее круговое движение. Шар все растет, все быстрее внутреннее кружение, все сильнее размах качания. Целый мир красоты, законченный и прозрачный...

А теперь создание завершилось. Оно желает отделиться, стать самостоятельным и начать радостный и дерзновенный полет через пространства... Надо остановить дыхание и отвести соломинку от губ. Окрестный воздух должен замереть! Ни резких жестов, ни вдоха, ни слова! Бережным движением надо скользнуть соломинкой в сторону и отпустить воздушный шар на волю...

О, дерзновенно-легкий полет навстречу судьбе... О, миг беззаботного веселья...

И вдруг – все погибло! И веселое создание разлетелось брызгами во все стороны...

Ничего! Мы начнем сначала...

«Что за ребячество»... «Какой смысл в этой детской забаве?»...

Да, это, конечно, «детская забава»... И все же – не только «детская», и не просто «забава». Признаюсь, я с удовольствием предаюсь этой игре и многому научился при этом...

«Помилуйте, да чему же можно научиться у мыльного пузыря?»

Всякая красота, даже само-малейшая, даже самая бесцельная, так же как и всякий радостный миг жизни – имеют большую, непреходящую ценность. Они смывают душевные огорчения, они несут нам легкое дыхание жизни (даже и тогда, когда учат нас бережно выпускать воздух) и дают нам немножко счастья... И мы можем быть уверены: ни один легкий, счастливый миг не пропал даром в человеческой жизни, а следовательно, и в мировой истории...

Совсем не надо ждать, чтобы легкая красота или этот счастливый миг сами явились и доложили нам о себе... Надо звать их, создавать, спешить им навстречу... И для этого годится всякая невинно-наивная игра, состоящая хотя бы из соломинки и мыла... Так много легкого и красивого таится в игре и рождается из игры. И недаром дыхание игры живет в искусстве, во всяком искусстве, даже в самом серьезном и трудном...

Не отнимайте у взрослого человека игру: пусть играет и наслаждается. В игре он отдыхает, делается радостнее, ласковее, добрее, становится как дитя. А свободная, невинная целесообразность, – бескорыстная и самозабвенная, – может исцелить его душу.

Но мгновение красоты посещает нас редко и гостит коротко. Оно исчезает так же легко, как мыльный шарик. Надо ловить его и предаваться ему, чтобы насладиться. Обычно оно не повинуется человеческому произволению; и насильственно вызвать его нельзя. Легкою поступью приходит к нам красота, часто неожиданно, ненароком, по собственному почину. Придет, осчастливит и исчезнет, повинуюсь своим таинственным законам. И к законам этим надо прислушиваться, к ним можно приспособиться, в их живой поток надо войти, повинуюсь им, но не требуя от них повиновения...

Вот почему нам надо научиться *внимать*: с затаенным дыханием внимать природе вещей, чтобы вступить в ее жизненный поток и приобщиться счастью природы и красоте мира. И потому всякий, кто хочет живой природы, легкого искусства, радостной игры, должен освободить себя внутренне, погасить в себе всякое напряжение, отдаться им с детской непосредственностью и блюсти легкое душевное равновесие, наслаждаясь красотой и радостью живого предмета.

Наши преднамеренные, произвольные хотения имеют строгий предел. Они должны смолкнуть и отступить. И творческая воля человека должна научиться *повиновению*: *послушание природе* есть путь к радости и красоте. Мы не выше ее; она мудрее нас. Она сильнее нас, ибо мы сами – природа и она владеет нами. Ее нельзя предписывать; ее живой поток не следует прерывать; и тот, кто дует против ветра или в перебой его полету, не будет иметь успеха. Порыв не терпит перерыва; а прерванный порыв – уже не порыв, а бессилие.

Но прежде чем предаться этому играющему порыву и приступить к созданию новой красоты, надо возыметь *доверие* к себе самому; надо погасить всякие отговорки и всякие побочные соображения, надо отдаться непосредственно, не наблюдать за собою, не прерывать себя, не умничать, не обессиливать себя разными «намерениями» и «претензиями»... Надо забыть свои личные цели и свои субъективные задания, ибо всякая игра имеет *свою предметную цель* и свое собственное задание. Этой цели мы и должны отдаваться, чем наивнее, чем непосредственнее, чем цельнее, тем лучше.

А когда он настанет, этот радостный миг жизни, надо его беречь, ограждать, любить; – все забыть и жить им одним, как замкнутым, кратковременным, но прелестным мирозданием...

Тогда нам остается только – благодарно наслаждаться и в наслаждении красотой находить исцеление.

А если однажды настанет нежеланный миг и наша радость разлетится «легкими брызгами», тогда не надо роптать, сокрушаться или, Боже избави, отчаиваться. Тогда скажем угасшему миру ласковое и благодарное «прости» – и весело, и спокойно начнем сначала...

Вот чему я научился у мыльного пузыря.

И если кто-нибудь подумает, что самый мой рассказ не больше, чем мыльный пузырь, то пусть он попробует научиться у моего рассказа той мудрости, которую мне принесло это легкое, краткожизненное, но прелестное создание... Может быть, ему это удастся...

7. ОБЛАКА

Я полюбил облака еще ребенком. Я не знал, за что, и не мог бы тогда рассказать, чем они меня пленяют. Но я мог любоваться ими без конца. Они казались мне живыми существами, которые сами плывут в блаженную даль и меня зовут с собою: там жизнь воздушна и светла, легка и радостна. Какие-то желанные сны просыпались в душе, какие-то чудесные сказки завязывались в этих облаках. Я засматривался на эти воздушные сказки, пока не заболела шея и не начиналось тихое головокружение; кто-нибудь из старших называл меня «ротозеем», и я ходил некоторое время, словно пьяный. О, любимые друзья моих детских мечтаний, кроткие, ласковые, озаренные... Мы ничего не требовали друг от друга, мы ничего не обещали друг другу; они только плыли надо мною, а я наслаждался ими и забывал мои детские огорчения...

Я уже давно вырос, но ребенок живет во мне по-прежнему и радуется на своих старых и всегда юных друзей. А говорят, будто на свете нет вечной привязанности... Как только жизнь становится мне в тягость, как только земные состояния кажутся мне непосильными, – я обращаюсь к облакам, я ухожу в их созерцание и утешаюсь.

Совсем незаметно и неожиданно оказываешься в другом мире, живущем по иным законам и радостно принимающем тебя в свой состав. Какая дивная вознесенность надо всем, и как она легка; она дается им сама собою, без малейшего труда: она у них

врожденная. И потому они сами так легки, так скромны, так свободны от всяких притязаний; они, наверное, не знают ничего о своей величавости и вознесенности. Или, может быть, они все же смутно ощущают эту могучую, неизмеримую, божественную высоту, которая простирается над ними?..

И потом – эта тишина, это спокойствие, эта дивная беззвучность! Она изливается от них и воспринимается нами как облегчение, как отпущение и освобождение. И в глубине души рождается лермонтовская мечта стать как они: приобщиться их беззаботности, бесстрастию их воздушных игр, безболию и безволию этих светорожденных созданий.

Как быстро они возникают! Как покорно они сливаются, растекаются и тают; как охотно они исчезают совсем, приемля свою судьбу и поддаваясь легчайшему ветерку. И все-таки чудится иногда, что они уверенно и настойчиво плывут к своей цели, как если бы они точно знали, куда спешат.

И вечно меняется их образ, их очертание, их строение. Каждый миг обновляет их; каждый час делает их неузнаваемыми; каждый день несет нам небывалое и неповторимое. Неисчерпаемое богатство воздушных форм; непредвиденные сочетания бытия и небытия, пустоты и полноты; неожиданные, неопишуемые оттенки света и тени, тусклой серости и ликующих красок. То простота млечного покрова; то прозрачность тончайшей сети; то сложнейшее нагромождение тяжелых масс. И подчас их облик так странно напоминает наши земные формы. Не горы ли вознеслись там вдаль, закрывая горизонт? А здесь – не развалины ли небесного замка? Как таинственен этот вход в огромную пещеру!.. Проползают и исчезают драконы. Проплывают лежащие ели. Слагаются и уносятся крылья ангелов. Вихрями вьются легкие кудри. Плывут воздушные корабли. Встают грозные, играющие видения. И все исчезает, и вот – на голубом небе ни облачка. Сколько чудесных иллюзий, сколько блаженных возможностей, сколько мгновенных поэм, вызываемых к жизни и отзываемых неведомым поэтом мироздания. И все – всегда – прекрасно; прекрасно и значительно; даже и тогда, когда все сольется в серую, сумрачную, безнадежную пелену. Великое зрелище. Щедрый дар. Небесная картина. Божия беседа и Божие утешение.

Этот дар дается нам для того, чтобы нам было куда спастись из этого перенапряженного, замученного мира с его злобою и тяготой, с его чрезмерными требованиями. Здесь нам открывается дверь в царство легкой безответственности и прекрасного безразличия. Тут от нас никто ничего не требует, никто ничем не грозит и ни к чему не принуждает. Нам не нужно желать, добиваться, судить, отвергать, сосредоточиваться и помнить. Здесь не надо бороться и негодовать. Здесь можно забыть. Пусть задремлет утомленная воля, пусть исчезнут напряженные помыслы, пусть успокоится огорченное или раненое сердце. Человек предается легкому и свободному взиранию; ему дается счастье чистого и бескорыстного созерцания; он вступает в некий божий театр, древний как мир и благостный как его Творец.

Облака дают нам самозабвение, уводят нас от дневной заботы, смягчают и утоляют наш гнев, разрешают все судороги души, угашают ее жадность, рассеивают ее сумраки и смягчают ее упрямство, – столь бесстрастно и свободно их течение, столь кротко и благодушно их легкое естество. Успокаивается ожесточенная воля, – и сладостно становится человеку ничего не желать и иметь право на безволие. Отдыхает утомленная мысль, – и упоителен оказывается покой бездумия, рассредоточенного и наивного неразумения. Изболевшееся сердце перестает любить или не любить, звать или возмущаться, – целебно льется в него бесстрастие тишины, смирения и благодарности. И вся душа очищается, созерцая этот символ земной отрешенности и небесной благости, – все покрывающей и прощающей щедрости.

Если бы мы чаще и дольше созерцали облака, то мы, наверное, сами стали бы лучше. Ведь это живые сказки, сказки о том, как сбываются несбыточные желания... Или, может быть, это верные тени высших, небесных сил? Может быть, это дым кадильный, клубами овевающий незримый алтарь Божий? Почему сердце мое трепещет от

предчувствия, когда заходящее солнце освещает это мощное, грозное облако, как бы благословляя его и даруя ему невиданную красоту? Почему я чувствую иногда, что по этим облакам, во всей силе и славе их, мог бы шествовать сам Господь Вседержитель? Может быть, это просыпается во мне довременная память о том, что совершалось в древнем бытии вещей? Или, может быть, я сам некогда был облаком и ныне радостно узнаю моих древних братьев?

Кто созерцает облака и живет в них сердцем, тот видит сны наяву, сны о возможном и приближающемся совершенстве... Может быть, это сняты нам дивные помыслы Божии, легким дуновением покинувшие лоно Его?..

8. О ЛИШЕНИЯХ

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем сафьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память»... Вот было разочарование!.. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились... И вдруг – альбом.

Какая скучища... Но дедушка взял мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без лишнего»... Да, хорошо ему было говорить: «не думай»... А мне было до слез обидно. Но пришлось помириться...

Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел: это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее... и потом еще много спустя... У меня было так много лишений в жизни... И всегда, когда мне чего-нибудь остро не доставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о сафьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его «правилом счастья» или «законом оловянного солдата». Кажется, тут замешана и сказка Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был малый – прошел через огонь и воду, и даже глазом не моргнул...

А теперь этот закон кажется мне выражением *настоящей жизненной мудрости*. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушения и опасности; и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы: *они грозят лишениями*. Потому, что так называемые «унижения» суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного «успеха», без «почета» и без так называемой «славы».

И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного, *предметного успеха в жизни* и от победы в жизненной борьбе. А если я хочу *предметной* победы, то я должен *пренебречь лишениями и презирать угрозы*. То, что иногда называют «крепкими нервами», есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто *только* грозит и даже не осуществляется, есть своего рода лишение, – лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и т. д. И вот, человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен *не бояться лишений*; мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы, или как бы выдержанный «экзамен на победу». Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему «ахиллесову пяту» и будет скоро ранен в нее: он будет ущемлен, обессилен, связан и поработен. Ему предстоит жизненный провал...

Всю жизнь нам грозят лишениями. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных «потерях», «убытках», унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни: в этом – подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, – есть *духовное преодоление угроз и лишений*. Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. «Не хватает?» – «Пусть себе не хватает. Я обойдусь»... Нельзя терять священное и существенное в жизни; нельзя отказываться от *главного*, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни – не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и поработать...

Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.

Во-первых, у него должна быть в жизни некая *высшая, все определяющая ценность*, которую он действительно больше всего *любит* и которая на самом деле *заслуживает* этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план... Это есть священное и освящающее *солнце любви*, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны... Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников...

И, во-вторых, человеку нужна способность *сосредоточивать свое внимание, свою любовь*, свою волю и свое воображение – не на том, чего не хватает, чего он «лишен», но *на том, что ему дано*. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив, заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума или уложить в гроб^[14] вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить *в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни*, как бы некую *дверь, ведущую в духовные просторы*; или – вход в сокровенный Божий сад; или – колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности; ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то ученики спросили у Антония Великого, как это он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо – и сердце мое видит Господа и поет от радости»...

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым...

Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: «В том, что тебе *уже дано*, сокрыто *истинное богатство*; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе *не дано*, ибо оно тебе не нужно»... Во всех вещах мира есть *измерение глубины*. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скудость, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием...

Поэтому не хорошо человеку обходиться без лишений; они нужны ему, они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.

И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей сафьянной тетради, научившей меня когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И *ее* – я не хотел бы лишиться в жизни...

9. О ЗДОРОВЬЕ

«Как это томительно, все время думать о своем здоровье... вечно беречься, всего опасаться, обходиться без запрещенного и все спрашивать: не повредит ли мне то-то и то-то? Вся жизнь наполняется страхом и опасениями... Все время наблюдаешь за собой, живешь с оглядкой, становишься сам себе тюремным наблюдателем... Радость жизни исчезает. Душой овладевает мнительность, ипохондрия. Не жизнь, а прозябание. Кому и зачем нужна такая жизнь?»...

Так жаловался я однажды в письме к моему деду, когда у меня начался процесс в легких и я должен был лечь в санаторию на много месяцев. Вот была тоска! Один этот градусник три раза в день, который я называл тогда «тюрьмометром»... Я был молод, подвижен, разговорчив и как раз начал интересную научную работу, которая требовала постоянных справок в библиотеке и выписок. И еще одно: я был влюблен... и не уверен в ее отношении ко мне. Ах, как я тогда терзался!..

Милый мой дед... Он давно уже скончался... Но я сохранил его ответное письмо. Оно настолько значительно и глубокомысленно, что его следовало бы непременно напечатать. У моего деда философия выростала из сердца, питалась созерцанием и сливалась с жизнью; но больших философских трудов после него не осталось.

Вот его письмо от слова до слова.

«Ах ты, мой нетерпеливец, – писал он мне. – Чего ты томишься? Ведь я по письму твоему слышу, как ты тоскуешь. Пожалуйста, успокойся и не мешай своему Врачу. Да нет, не санаторному, Бог с ним; он все равно будет делать свое дело. Я разумею *твоего собственного, внутреннего* Врача, с которым ты не в ладах. А ты о нем ничего и не знаешь? Тогда я должен рассказать тебе про него. Но ты изволь спокойно лечь, поудобнее. Вот так, на спину... Удобно? Ну и не напрягайся, не делай угрюмого лица! Если будешь предаваться мрачным мыслям, то ничего не услышишь и не поймешь из моего рассказа. Пожалуйста, не хмурь бровей. Дыши спокойно и глубоко, будто заснуть хочешь. Ну вот, а теперь слушай меня сердцем и внутренне проверяй каждое мое слово.

У всякого из нас есть свой собственный, внутренний Врач. Его нельзя ни видеть, ни слышать. Он ведет скрытую, таинственную жизнь и не отвечает на прямые вопросы. Но к нему можно и должно «прислушиваться». Изредка мы его видим во сне, но обыкновенно не знаем, что это он. Тогда нам снится какой-то симпатичный, дружелюбный человек, к которому мы питаем полное доверие; он очень благожелателен, сопровождает нас, молча помогает нам в делах и устраняет всякие неприятности; обычно мы не видим даже его облика, он живет как будто в тени; мы чувствуем только доброе и заботливое существо, и просыпаемся с чувством благодарности, ободренные и обласканные... Это и есть наш внутренний Врач, который нам дан на всю жизнь и с которым мы должны жить в ладах...

Ты, конечно, спросишь, как до него добираться? А видишь ли, у нас есть особый дар *внутреннего созерцательного внимания* и нам надо упражнять его. Надо прислушиваться к жизни нашего собственного инстинкта, той великой и умной подземной силы, без которой наша жизнь была бы совсем невозможной. Эта сила растит и строит человеческий организм – это удивительное сожительство или «земное единожительство» личного тела и личной души. Он печется о нас, ведет нас и охраняет, присутствует во всех органах нашего естества. Можно было бы сказать, что каждому человеку дан от Бога некий внутренний «строитель». Это *он* «просыпает» тебя по утрам, потому что ты

«достаточно» поспал; он именно «просыпает» тебя изнутри, тогда как другие люди могут тебя только разбудить. Ты видал, вероятно, людей, которых никак не добудишься? Понятно почему: ты их насильно и произвольно будишь, а «их» органически-внутренне «спит»... Ты поскользнешься на ходу – а он уже позаботился о том, чтобы ты не упал: он поддержал твое равновесие. Ты порезал палец, и уже все сделано для того, чтобы ты не истек кровью; и пока ранка не заживет, она будет изнутри залечиваться твоим заботливым Врачом. Чтобы ты ни предпринял, он все время заботится о тебе. Ты сегодня много поработал и хотел бы посидеть над книгами еще всю ночь; он

считает это вредным и заявляет об этом в форме усталости и сонливости. И если ты будешь настаивать на своем, начнешь много курить и пить крепкий кофе, то ты окажешься с ним в разладе и он может устроить тебе внутреннюю «забастовку». Трудный и напряженный день прошел, тебе пора спать, и он сигнализирует тебе об этом: глаза твои слипаются, ты начинаешь зевать и становишься вял и сонлив. Это от него идут чувства голода, жажды, холода, скуки и тоски: ты не бережешь себя, ты не знаешь, что тебе нужно, а он знает все потребности твоего организма и бережет тебя. Это он предупреждает тебя о том, что тебе нужно больше углеводов (сахар), меньше соли, гораздо больше витаминов; это от него «мороз по коже», чихание, зубная боль, повышенная температура, обложенный язык. Если ты не считаешься с этим – тем хуже для тебя; он не может и не будет «уговаривать» тебя, а сделает тебя слабым и больным – одумывайся и опоминаться, забрел в тупик – ищи выхода...

О каждом излишестве (вино), о каждом упущении (отморозил нос) он все время дает тебе знать. Живой человек есть целая система равновесий: равновесие тепловое, пищевое, сонно-бодрственное; равновесие в напряжении мускулов и нервов; кровообращение, мера движения и покоя, мера горя и радостей, мера чувственных наслаждений и мера целомудрия, мера сосредоточенной мысли и мера отвлечения и развлечения. Это он блюдет во всем необходимую меру и надлежащее равновесие, и знает, что тебе необходимо; это *он* сокращает твою работоспособность, посылает тебе мигрень или бессонницу, или желание прыгать и бегать; или валит тебя на теплую лежанку, или устраивает тебе длительный нейроз.

Это он побуждает беременную женщину есть мел или древесный уголь, потому что они ей необходимы для ребенка. Когда ты в темноте подходишь к незримой для тебя опасности – он предупреждает тебя замиранием сердца и чувством непонятного ужаса. Надо приучиться прислушиваться ко всему этому. Таинственный Врач твоего инстинкта мудрее и дальновиднее тебя. Он во всем требует *равновесия, целесообразности и меры*. Он есть воплощение *молчаливой творческой мудрости*. А от нас он требует – *внимания и повинования*; и за это он посылает нам *здоровье*: само себя поддерживающее равновесие жизни, и легкое, бодрое самочувствие...

Это искусство прислушиваться к бессловесному голосу своего инстинктивного Врача – современный человек, к сожалению, утратил. Первобытный человек обладал этим даром и был счастлив. Но теперешний злосчастный умник не способен к этому. Он гордится своим рассудочным мышлением и воображает, что сознательная мысль составляет главную суть и силу жизни. Он воображает, что «культура» одолела природу и подчинила ее себе. Он самодовольный рассудочник и гордец; и думает, что его произвол призван покорить богозданную природу и, может быть, даже впоследствии заместить ее. Он доходит до того, что выдумывает всякие противоестественные теории и способы жизни, и ставит все вверх ногами. А его безбожие ослепляет его все более и более, и завлекает его все дальше и дальше.

Грех противоестественности становится все глубже у современного человека – и ему уже не избежать справедливого возмездия. Упорное неповиновение природе может *сломать человеку хребет*, ибо тот, кто восстает против бо-гозданной природы, – *бунтует против Бога*.

Поэтому нам надо кое в чем вернуться *назад* – к *бого-зданной природе*, чтобы вернуть себе дары неба. Мы должны научиться ладить с нашим инстинктивным строителем и таинственным Врачом. Мы должны научиться вопрошать его, не надеясь на словесный ответ: чего бы ему «хотелось», чего бы он желал «избежать», что ему подходит и что – нет, и что он решительно отклоняет как вредное. Тут не следует умничать, не надо ничего изобретать самому. Советоваться со своим Врачом совсем не значит потакать своим страстям и вожделениям. Это – совсем иное: человек внутренне сосредоточивается и прислушивается к голосу своего организма; он внемлет голосу своего инстинкта, но не его слепоте и страстности, не его противодуховной жадности, а его *духовной мудрости*,

данной ему от Бога и взлелеянной от природы. Человек как бы *возрождает в себе тот акт, при котором дух владеет инстинктом до самой его глубины и из самой его глубины*. Он совещается с *духом своего инстинкта* и олицетворяет его в образе своего «Врача». Это пробуждает в душе древнюю, первозданную глубину, которая, может быть, уже совсем заглохла, а может быть, только засушена рассудком. Человек как бы стучится в дверь своего богоданного и естественного Врача, чтобы приобщиться его самодетельной мудрости и возобновить в себе *органическое самочувствие природы*. Врач отвечает без слов; его мудрость не «логична», а «органична»; он молча указывает «нужное», «одобряет», «подтверждает» или «отводит – не советует». Именно там, в этой глубине *инстинктивной духовности* живет творческое зерно здоровья, тот дивный *дар органического самоцеления*, с которым мы должны вступить в связь.

Вот в этом-то и дело, мой нетерпеливый мальчик! Ты тоже утратил живую непосредственную связь с твоим строителем и Врачом; и вследствие этого ты заболел. Теперь тебе надо во что бы то ни стало восстановить эту связь. Тебе нужно не просто вылечиться от кашля и зарастить «раненое» легкое; тебе нужно начать новый образ жизни. Ты должен вступить в живой ритм природы, как бы окунуться в поток самоцеления и естественного самоподдержания. Это нельзя сделать насильно, простым решением, в кратчайшее время. Ты должен постепенно освоиться с мыслью, что здесь надо не приказывать, а повиноваться; не эксплуатировать свои силы по произволу, а блюсти *меру* напряжения и *равновесия* во всей жизни. Только *повинуясь природе, можно ей повелевать*. Кто живет и творит вместе с ней, из нее, того она несет охотно и радостно как своего господина. Ибо природа, подобно судьбе, ведет послушного и насильно тащит непокорного. Поэтому, если ты будешь доверять своему инстинктивному Врачу и слушаться его тихих указаний и предупреждений, то тебе не надо будет постоянно тревожиться о своем здоровье: он будет делать это за тебя. Ты будешь жить, любить и творить, а он будет поддерживать твоё здоровье. Ты будешь блюсти его органические пожелания, а он будет идти навстречу всем твоим духовным требованиям. Вы будете сообща – живым, здоровым единством. И ты будешь здоров и будешь наслаждаться прекрасным, уверенным спокойствием за себя и за свое дело.

Так-то, мой милый. Здоровье есть нечто большее, чем люди обычно думают... Здоровье есть предначертанная Богом и угодная Ему гармония между личною природою и личным духом. Каждый человек создан для здоровья и призван к тому, чтобы быть здоровым. В больном виде мы не соответствуем нашему назначению и Божьему замыслу; какая Ему радость от наших уродств и мучений?.. Он посылает нам недуг для того, чтобы мы выздоровели, – как путь к здоровью.

Поэтому болезнь есть как бы таинственная запись, которую нам надо расшифровать: в ней записано о нашей прежней, неверной жизни, и потом о новой, предстоящей нам, мудрой и здоровой жизни. Этот «шифр» мы должны разгадать, истолковать и осуществить. В этом – *смысл болезни*.

И все это есть *чудо*, живое чудо природы, великое чудо Божие, которого мы по привычке не замечаем; мы проходим мимо него, и наше заглохшее сердце остается холодным и безразличным. Подумай только, как это дивно: в каждом из нас заложена способность осуществлять в себе задуманную Богом гармонию духа, души и тела... каждому из нас дан таинственный строитель и Врач, призванный к осуществлению этой гармонии; каждый из нас обладает даром погрузиться в себя духом и воззвать к этой предначертанной и обетованной гармонии... Это значит сразу – вернуться *к природе и придать себя воле Божией*...

Но не верь мне на слово. Постарайся увидеть это все самостоятельно. Воспользуйся для этого своей болезнью: она должна не только исцелить тебя (ибо в этом ее призвание), но и умудрить. А мудрость дается только через испытание и страдание. Поэтому не сердись на свою болезнь; «дай себе отпуск»; представь себе, что ты уехал в путешествие и должен привести с собою – дружбу со своим Врачом, дар здоровья и

органическую мудрость. Пережив все это сам, проверь, удостоверься и доведи себя до очевидности. Для этого нужно терпение. Все прекрасное на свете растет и развивается медленно. А ты ведь хочешь именно прекрасного – предначертанной от Бога жизненной гармонии. Взрасти ее, и вся жизнь твоя озарится по-новому: и любовь, и семья, и творчество, и старость»...

С тех пор я и в самом деле пережил все это, проверил, удостоверился и дошел до очевидности. А письмо деда я читал и перечитывал много раз, так что теперь знаю его почти наизусть...

10. МИРОВАЯ ПЫЛЬ

Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее юпытом или колесом – ей все равно, взлетит и облепит путника, и он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя... Куда не взглянешь – пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок: сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени; значит, и тень полна ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков; слеживается пластами на забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом пространстве. А когда самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью.

Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глупой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую; с виду безвредную, но в сущности – обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль – это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение.

Весь мир ищет единения и устроения; вся жизнь его проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную принадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой клетке и в величавом течении планет, и в полевой былинке и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет *необходимым* и выбрасывает *излишнее*; и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью.

И вот в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание: он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу вселенной. Если же это ему не удастся, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо у нее нет питающей почвы и нет органической принадлежности; ей остается только слоняться в без-делии, томиться и бунтовать... Существо, отколывшееся от мира, не участвует в

великом хоре вселенной и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего *служения*, а потому и *счастья*: ибо на свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший *себя в мире*, – уже не жертва «случая» и не дитя хаоса: он обретает свою *личную свободу* в служении *мировой необходимости* и вступает во вселенный хор, поющий осанну...

Правда, есть в мире «мудрость», которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством – пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная «мудрость» не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей «экономии мира»: эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастья. Все неустроенные атомы мира – образуют единую, великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание – то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного «новообразования» организма, то в виде социальной революции или гражданской войны...

Такова великая «организационная» задача мира: пыль должна быть принята и включена в живой порядок вселенной и общества, она требует от нас избавления и исцеления – счастья через свободное служение. Это не задача «мига» или «часа», это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых *мудрых* и в то же время *бережных* мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, «потерявшие голову» и неспособные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения – протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнивание и порабощение...

...Однако великая проблема «пыли» имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во *внутренней* жизни человека имеется *свое* распыление и *своя* особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святые. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единой, главной идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.

Вот почему нам надо постоянно отличать духовно-существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного; и притом для того, чтобы все время перелagать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и

распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их *его* светом и *его* содержанием так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства; то, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить – значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить – значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя...

Все ничтожные мелочи нашего существования – все эти несчастья, низменные и пустые «обстоятельства» жизни, которые желают иметь «вес» и «значение», а на самом деле лишены всякой высшей существенности; все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают – все это *пыль*, злосчастная и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться от нее, и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными; наш жизненный уровень станет низменным; наша любовь станет капризной, нечистой и нетворческой; наши поступки станут случайными, неверными, предательскими – и дух наш задохнется в пыли бытия...

Тогда наша жизнь окажется поистине «даром напрасным, даром случайным» (Пушкин); она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Бёркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и наслаждается, по словам Гераклита...

Притаившись у дороги нашей жизни, лезжит вокруг нас эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства, и тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все: и мышление, условно «комбинирующее» относительные, отвлеченные понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную, политическую пыль; и холодное и омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования...

А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не справиться ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.

11. О ЩЕДРОСТИ

Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо удивительно: кружево да и только, и с каким вкусом! А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещь значительному, талантливому человеку. Тогда он

приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость»... – и улыбался счастливой улыбкой.

А, значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он: с длинными, белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.

Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем не верно. Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.

Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас не легко; и несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как ему это удавалось?.. А это он и называл «искусством владения» – или щедростью.

Он был седьмым в своей семье и притом младшим; одни мальчишки. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «Изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбой у него сразу пошло; вещи его очень нравились. И он объяснял это так: «Я *от души* это делаю, *с любовью*, а люди это чувствуют; ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится»...

Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила; так и называла его – «голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением.

Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят и слушают как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тяготы с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древне-народных тонах и гармониях... Он потом с Мельгуновым водился и с гусярами все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и только глаза сияют блаженством.

Вы спрашиваете про «искусство владения»? Сейчас, сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам об этом рассказывал: «Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали: обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас *свое главное* из глаз глядит, а у них глядела жадность». Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как зальется, так все слушают и не дышат.

Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение.

«Слушай, малыш, – говорил он мне не раз, – есть особое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы *не зависеть от своего имущества*, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух – или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно – хи-и-трое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом. И

тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет *главным* в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное: человек должен быть *свободен*; да не только от гнета людей, но и *от гнета имущества*. Какая же это свобода: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь; мое имущество покоряется. Тогда я им действительно *владею*, ибо *власть* в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится *за* свое богатство, тот трепещет *перед ним*: как бы оно не ушло от него, как бы оно не повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда...

Вот я вырезаю по дереву. Это удастся мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость.

Или вот – на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет *мною*, а я владею *скрипкой*; вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божию красоту.

То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано *служить нашему сердцу и выражать нашу любовь*. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство, а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу...

Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество; это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, *не отменяя имущество, победить его* и стать *свободным*. Эта свобода не может прийти от *других* людей; ее нужно *взять самому, освободить свою душу*. Если мне *легко* думать о своем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не цепная собака и не ночной сторож; я не побирушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать со счета; где сердце заговорит – с радостью дарить; снабжать, где у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не требовать возврата, если другому невоготу; и братски забывать о процентах. И главное, – слышишь, малыш, – никогда не трепетать за свое имущество: «Бог дал, Бог и взял, да будет благословенна воля Его». Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство; а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства»...

«В умных книгах пишут, – сказал он мне раз, – что имущество есть накопленный труд, а по-моему, и труд, и имущество *от духа и для духа*. А дух есть прежде всего – *любовь*. Поэтому у настоящего человека имущество есть *запас сердца и орудие любви*. Богатому человеку нужно много сердца; тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца – значит, тяжелая судьба и дурной конец».

Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни, одну за другой: «Верный наш колодец» и «Не пой, соловушка» и еще много других, а я сию счастливый и слушаю...

И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и искренность в его песнях!

И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоящий мудрец...

12. РАННИМ УТРОМ

Отчего это я проснулся сегодня так рано? Может быть, это ночная бабочка заметалась на рассвете? Или донеслись тихие раскаты далекой грозы? Или души моей коснулся тот молчаливый укор просыпающегося мира, который настагает всякого, погруженного на заре в свои одинокие сны? Не знаю. Но только я вскочил с таким чувством, как если бы проспал что-то очень важное, и полусонный, растерянный – открыл окно в сад. И тотчас же меня охватила струя раннего воздуха, нежная прохлада, упоительная щедрость мира...

Еле светало, но ночь уже шла к концу. Высоко-высоко в бледном небе тихо гасли звезды. Неуверенный, слабый свет разливался с востока, как бы робко спрашивая, не пора ли?.. Ночные тени уже таяли, но все еще пытались сохранить свои тайны. И каждое мгновение все менялось...

Вчера весь день было так душно... Все было подавлено и надломлено зноем. Земля поглотила так много солнечной жары, что возвращала ее избыток, а мы, жалкие люди, томно слонялись в изнеможении, ища прохлады. И даже ветер своим горячим, больным дыханием не давал облегчения... Где же это все? Куда исчезло? Воздух чист и легкий; он струится весельем, играет. Он выздоровел, вернул себе свежесть и упоен такую радостью, что сразу захватывает, будит и опьяняет светлыми предчувствиями. И вся тварь Божия купается в нем, наслаждается, отвечает благоуханием или пением.

Сладостно пахнет сирень, сама изнемогая от своей щедрости; чуть доносится струя от первых ландышей; густыми волнами катится от черемухи; и от времени до времени все заполняется дыханием соснового бора.

А у птиц сущее ликование; высвистывают все сразу с такой прямодушной откровенностью, будто за ночь досыта намолчались и теперь хотят сообщить миру все свои открытия;

или будто они ясно и окончательно разрешили все вопросы жизни и должны провозгласить свои решения. Где-то вдали чокает еще соловей, но уже слабо и утомленно. Зато остальное птичье население предается беззаветному веселью. Все пространства полны нежным щекотом, бодрым щебетом, близким посвистом и далеким граем; говор, лепет, восклицания и нежданный громкий всписк; тут и короткая долбня, и долгая дудка, и капризное чивиканье, и надоедный треск; перебой и переключка, обрывы и раскаты. Птичье праздничное гулянье; птичий сумасшедший дом. А с высокого каштана все покрывает своими авторитетными возгласами певучая иволга. И все эти звуки четки, как самый воздух. А воздух все светлеет, как бы расступается и показывает просыпающиеся краски мира. И только люди досыпают свои тяжелые, то угнетающие, то соблазнительные сны...

Вдруг – легкое, но совсем особенное, прохладное дуновение, трепет и шелест в вершине большого тополя, скользящий шепот в высокой траве – и в чуть голубеющем небе загорается маленькое сонное облачко... Новый день начался...

Почему так упоителен этот ранний утренний час? Откуда это счастье, наполняющее душу? Что видим мы, что постигаем мы в эти девственные минуты жизни?

Древняя старушка с лучистыми глазами рассказывала мне об этом, когда я был еще ребенком; и я поверил ей на всю жизнь.

«День-то Божий, – говорила она, – уж очень светел да нежен. Все освещает. Все видит, все слышит и знает. А это куда как тяжко... Сколько дурного на земле, сколько злобы и греха... Разве это вынесешь?? Потому он и не может долго длиться. Ему надо скрыться и уйти: он и прекращается. Все обиды забирает он с собой, все горе, всю боль человеческую уносит. И приходит на его место тьма ночная, всех разгоняет, все огни гасит, все дневные грехи прекращает, чтобы не видно было ничего и чтобы все поприкончилось.

А день тем временем отдыхает и выздоравливает. А когда ночь настанет, загораются звезды Божии, кротко светят, чистоту изливают, земле мир даруют, человекам

благоволение. Вот от этой звездной чистоты и доброты все и очищается; угомоняется шум человеческий, ложится пыль земная, все яды душевные истребляются, вся духота греховная исчезает. Земной воздух становится опять легким и пречистым. И Божий день опять может начаться»...

Как она все это разведала, не знаю. Должно быть, днями очень мучилась, а по ночам долго подслушивала. Но я поверил ей на всю жизнь. И когда меня посещает опять счастливый час и мне удастся увидеть Божие утро во всей его красе и чистоте, тогда я твердо знаю, что она рассказала мне правду мира.

Это истинная правда, что наши дневные, человеческие дела поднимают целую тучу земной пыли. Истинная правда, что наши дурные человеческие страсти засоряют и заражают атмосферу. И еще большая правда, что в пыльном, зараженном воздухе земли нельзя вести прекрасную жизнь, нельзя радоваться ни земной красоте, ни Божьему совершенству. И если благодатное исцеление не дастся нам свыше, и не очистит нас от нашей скверны – то откуда же ждать нам спасения?..

И разве не правда, что дневная жизнь все выводит на свет, обнажает перед нами все коварство, всю жестокость, всю низость мира и наносит нам рану за раной? О, впечатлительность дня! О, нежность детских восприятий! О, это горе за огорченных и стыд за нестыдящихся!.. И бывает так, что уже в первую половину дня накопится столько, что дышать нельзя от ядовитой пыли и что свет меркнет в глазах. И тогда надо непременно прервать дневной поток сознания и искать целительного одиночества. И потому самые впечатлительные и нежные люди ищут облегчения в дневном, хотя бы и кратчайшем, сне...

День – забота и нужда, ночь – беззаботность и богатство. День – напряженность и напряженность, ночь – освобождение и простор. День – томление и утомление, ночь – забвение и самозабвение. День – борьба, ночь – покой. День – труд, ночь – желанная мечта. День – присутствие, ночь – отпуск и отсутствие. День – общение, ночь – разобщение и тишина одиночества. И что случилось бы с нами, земнородными, если бы ночь не давала нам облегчения, покрова и прощения? А мы еще и в снах не можем расстаться с нашими соблазнами и затруднениями... Что случилось бы с нами без этой тихой забвенности, без этой целительной темноты, без этой благодатной глубины, в которую мы незаметно погружаемся, чтобы приобщиться блаженному покою и свободным видениям?..

Все земное так скоро устает: природа устает от дневного напряжения; день утомляется от нашей пыли и от нашего яда, а мы сами устаем, от нашей собственной беспомощности и неумелости, от неверного отношения к другим – нелюбовного, нетворческого, жадного и опасливого восприятия людей. И если бы исцеление и укрепление не давалось нам свыше, то откуда было бы нам ждать спасения?..

Но именно поэтому помощь нисходит к нам свыше. Меркнет дневной свет. Наступают сумерки. Темнеет. Гаснут потускневшие краски. Утомленные образы теряют свои очертания. Легкое кажется массивным; тяжелое становится почти невесомым. И тихий мрак покрывает, наконец, неразличимую, исчезающую вселенную. Наступает час разлуки: все вещи расстаются друг с другом, чтобы отдохнуть друг от друга, чтобы уйти в себя, чтобы утратить себя в блаженном одиночестве и вступить в забвенную, таинственную связь с заснувшим миром. И почерпнуть в этом отдых и очищение.

Тогда зажигаются в небе Божии звезды и посылают свои лучи запыленной и усталой земле. Тихо изливают они свою мудрость на землю, на всю природу и на человека, на всех усталых, запыленных и отравленных, посылая им очищение и исцеление, чтобы они могли уподобиться звездам; чтобы люди утихли и умиротворились, ибо шум и гнев не от Бога; чтобы они стали кроткими и нежными, ибо грубость и жестокость – от человеческой испорченности; чтобы они стали чистыми и ясными, ибо пыль и грязь означают болезнь и страдание; чтобы они стали послушными и гармоничными, ибо в небе нет ни бунта, ни хаоса...

Так текут ночные часы. Сонный мир дышит этой целительной мудростью, воздух становится чистым и блаженным, краски опять получают свою жизненность и прелесть, цветы благоухают нежно и благодарно, а птицы и звери внемлют сквозь сон небесной гармонии.

Но именно потому человек бывает так счастлив, когда проснется в ранний час и приобщится пробуждению исцеленного мира; когда подышит очистившимся воздухом, увидит обновленную природу, услышит ликование пернатой твари, получит прощальный привет от гаснущих звезд и почувствует в начавшемся дне, в восходящем солнце и в его первом, дивно-прохладном дуновении – дыхание самого Бога. Тогда он начинает день, как если бы вновь родился для жизни: ибо сердце его очистилось, и воля его живет надеждами; освежилось и обновилось его воображение и окрылились его замыслы...

Каждый день несет нам этот блаженный ранний час, ибо каждое утро есть *Божие утро*, а мы не помним этого и проходим в жизни мимо Божией благодати, не умея находить и беречь ее дары.

13. О ВОЗРАСТЕ

Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого – быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное; и слишком часто ему кажется, что он непременно должен «достать» или «добыть» себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту.

Вот так – и с возрастом...

Есть в жизни человека такая раздельная черта, *до* которой он торопит течение времени и *от* которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. *До* нее человек говорит себе и другим: «ну, я совсем уже не так молод»... потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка... А *после* нее человек всегда готов сказать и другим и себе: «но я совсем еще не так стар»... – потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других – что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст? А эти «другие» нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам, и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть состояние внутреннее, внешними признаками неуловимое; а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное.

Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения: «тощий плод, до времени созрелый» (Лермонтов); они никогда не были молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство *духа* – *его* сила, *его* творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость.

К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст; и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состояниям своего тела, озабоченно считают про себя прожитые годы, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и в конце концов принимают свои железы за главное в жизни... Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности, и не понимаем, что *духовность* есть ключ к истинному счастью...

Смолоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей; ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки («ребенок», «мальчишка», «молокосос»), и ему все кажется, что люди

обмениваются улыбками на его счет... Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают... Зачем?

Но вот свершилось: испытания детства кончились и взрослые говорят с ним, как со взрослым; ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. «Эти старики» думают, что у них есть какой-то особый «опыт жизни», которого он будто бы лишен; что они все знают и понимают лучше и что все всегда должно оставаться «по-старому, как мать поставила». И все они ссылаются на свой «авторитет», и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет и скоро он вступит в свои права...

Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше, – довольно. Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение, со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладно и что сама она не знает, чего хочет. «Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их»... И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать... Но, к сожалению, это невозможно...

Итак, человек всегда недоволен; и он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а *уходить* от своего возраста, *не поддаваться ему*. Возраст не определяется долгой жизнью и состоянием тела, он определяется другим мерилем. Покорность и безмощность здесь неуместны; страх и притворство – унижительны. Надо добиваться и добиваться *независимости от своего возраста*. Не надо спорить с ним и тяготиться им; пусть приходит старость: она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевая свой возраст и превращая его в неважную мелочь существования...

Легко сказать... Но как же это делается? А вот как.

Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а *по состоянию духа*. Во-вторых, надо *наслаждаться* во всяком возрасте его *благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи*. И, в третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и *не устареваает*, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни.

Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои радости. Каждому доступна своя духовная красота. И надо уметь наслаждаться всем этим.

Ребенок открывает глаза и видит перед собою мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской; каждая стрекоза прельщает его своим полетом; каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, первые пробуждения духа...

Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежною тайною, каждая сулит ему возможность будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время «вопросов» без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей вселенной...

Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности; он утверждает свою духовную

самостоятельность; он убеждается в том, что воля есть сила строящая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружения своих сил и способностей; это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви.

Зрелый муж познает радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, призвания и восхождения. Красота позднего лета; благоухание сложенных скирдов и собранных яблок; счастье зрелых и законченных созданий.

Старость вкушает покой и тишину сердца; она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости. Чудесное бесстрашие дружбы; благодатное богатство осени; одинокое стояние на сторожевой башне; тихое учительство мудреца; мировая скорбь философа; молитва отшельника о страдающих людях.

А *древнему старцу* дано еще большее и высшее: он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благодати; он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком-человеческого; беспристрастное и бескорыстное созерцание; благословляющая любовь; лучезарный закат солнца; предчувствие близкого преображения жизни.

Подумать только: сколь же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности... Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность...

А если он прожил свою жизнь в служении вечному – в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани мира, – то жизнь его была благословенная и счастливая... Это означает, что он еще ребенком радовался дуновениям Божиим в мире и что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной; вступая в жизнь, он уже постигал, Кем он призван и к чему, а зрелым мужем – твердо знал, Кому и чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И покидая землю, он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы...

И если *так* жить, то жизнь станет цветущим садом. Возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною... И не на что будет жаловаться и роптать.

III. ДАР МОЛИТВЫ

14. О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ

У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. «Чего у меня нет, того чтобы и у других не было». Неприятно сознавать себя лишенным и обойденным. Чужое преимущество уязвляет и оскорбляет; и редко кто умеет «прощать» другим их одаренность... Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу... Но если обойденный завистник добьется власти, и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему людей их «невыносимое» и «непростительное» преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами.

Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то слагается впечатление, будто мы внемлем неистовым проповедникам – проповедникам безбожия, – старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле, это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом; они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за

«освобождающую истину», за «радостное благовестие», словом – за *новое откровение*... Такое впечатление не случайно; оно исторически обосновано и верно. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу.

Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных, глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое и самоценное измерение мира и вещей; оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство, смешанное из сострадания, тяжелой грусти и растерянности.

Таково приблизительно то первое чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно-слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе и как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленною, слепую и жестокою.

И вот, в нас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины: мы – счастливы, он – несчастен; нам дано духовное богатство, которого он лишен; мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли примириться с их духовною обреченностью?

И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотою: напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его. Напротив: эту лишенность он переживает как особое преимущество, как начало «новой» жизни и нового творчества, как знак «высшего призвания», как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача; этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек образцового здоровья; он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он – «просвещенный мыслитель», а мы бродим во мраке, не то «обманутые», не то «злостные обманщики». Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, истинному счастью. Одним словом, он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности.

И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокружение. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными: люди ходят спиной вперед; или падают не вниз, а вверх; огромное богатство состоит из черепков и мусора; видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости; чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром... И, наконец, проснешься и благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились...

Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собою людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новое «откровение»: они считают нас отсталыми «мракобесами», рабами предрассудков и суеверий; они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам – или «передумать» и согласиться с ними, или же готовиться к мукам и смерти. Вот что, приблизительно, они говорят нам: «Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о Нем.

И это превосходно, это начало новой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут, подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеее веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так, чтобы на земле совсем не осталось верующих»...

Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепого: оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодования. Надо выступить на защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Конечно, нельзя «запретить» безбожникам их безбожие; запретом тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их «просвещении»; что мы уже видим духовный свет; что этот свет уже освободил нас; что вера наша по существу своему предметна, свободна по своему акту и освобождает нас своей силой и своим содержанием; и что *никакого освобождения от этой свободы нам не нужно*. Мы должны доказать, что их новое, мнимое «откровение» есть в действительности слепота, самообман и мрак; что оно не дает им никакого права на власть и ведет к гибели.

Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим *все* то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще *иное*, несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни «фантазерами», ни «лицемерами».

Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии: ибо лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях и само существование этих притворщиков не говорит ничего против Истины и против Предмета. Надо считаться только с *искренними людьми и честными созерцателями*.

Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небылицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к *подлинно суицим реальностям*; нам не надо их выдумывать и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чувственного видения, а наши чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался; он видит чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие; мы переживаем земное так же, как и все здоровые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых и изобретателей, напр.: Коперник, Бэкон Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либих, Рудольф Майер, Шлейден, Дю-Буа-Реймон, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие мастера Предметности. И они веровали в Бога; и открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому что их *созерцающий опыт* открывал им не только чувственно-земной и материальный мир, но и *великие объемы духа и его реальностей*.

Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений. Она зарождается в *полноценном опыте* и бывает всегда укоренена в *предметном созерцании духа*. Этот духовный опыт имеет дело с *реальностями не чувственного* (совесть) или *не только чувственного* (искусство) или *прямо сверхчувственного* (религия) характера. Этот опыт не «мечта» и не «помешательство». Он

требует *духовного трезвения* и поддается *духовной проверке*. Он имеет свою подготовку, свое очищение и особые упражнения; он осуществляется в предметном восприятии и добивается полной и окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать, тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию.

Что мог бы сказать слепорожденный о *красках* дивной картины или прелестного цветка? Ничего... И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует или что этот цветок есть наша галлюцинация... Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой *музыки* нет, что все это «выдумки лицемеров»?.. Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания и никакого права говорить о духовных предметах. Человек с заглушим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о *любви*; как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел и ничего не знающий о силе и блаженстве *совестного акта*, не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благодати Божией и об искуплении... Как объяснить ему, что такое *молитва*? Как поверит он, что молитва бывает *принята и услышана*? Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха и что ей дано *преодолеть всякий страх*? Как объяснить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога *освобождает душу* и что проповедуемое им безбожие несет людям *худшее в истории рабство* – порабощение страстям, материи и безбожным тиранам?..

Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными *реальностями*, пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов; и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священные начала жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз.

Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недостижимой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только «по ту сторону» нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, «по сию сторону». Он дает людям Свой свет и изливает Свою силу. Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и призваны воспринимать Его живое дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или совершенное – всюду есть веяние Духа Божия: и в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидательном труде, и в простой человеческой доброте, струящейся из человеческого ока... И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему, – там Он среди нас...

А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его *телесным глазом*, мы отвечаем: именно потому, что мы не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком; и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим «пяти чувствам».

Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без солнца. Не бывает человеческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает свою творческую силу: он становится бессердечной, безвдохновенной, жестокой тварью, бессильной в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем более способной ко взаимному мучительству и всеобщему разрушению; и жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным предательством. История дала тому

достаточно свидетельств; неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания?.. Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия: разнуздание, унижение, рабство и муку...

Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостоверить их в том, что путь без Бога ведет к гибели... Но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?..

15. ГОРНОЕ ОЗЕРО

В стороне от общих исхоженных дорог, там, высоко, у подножия крутой стены, покоится горное озеро, погруженное в свои видения. Оно смотрит чистым оком вверх, в мировое пространство, и принимает в себя все, что посылает ему небо, послушно и ясно отражая в себе его дары... – земное зеркало высоких событий...

Не легко к нему добраться. Долог подъем, терпеливо надо идти, шаг за шагом, все вверх и вверх, в твердой надежде увидеть необычайное. Все труднее становится восхождение, все стороже и скуднее – природа, все прохладнее – бодрящий воздух. Вокруг застывший хаос. Глубоким мхом обросли скалы. Чуть слышно шепчут редкие сосны. Первобытная, священная тишина. И только два голубых мотылька, беззаботно празднуя свое счастье, носятся друг за другом через светлые пространства...

И вдруг путник чувствует *его* присутствие... Его не видно еще, но душу охватывает уверенность, что путь закончен и что оно сейчас покажется... Это завершённое, благоговейное безмолвие – верный знак его близости; это легкое, чуть влажное, зовущее веяние может исходить только от него; чувствуется вблизи некое живое средоточие, вокруг которого и для которого существует вся окрестность... И вот *оно*, наконец, во всем его тихом великолепии...

Просты и строги его берега: ему не нужно окружения, оно не ищет украшений. Оно лежит открыто, чтобы видеть все и на все отвечать. Неподвижна его прозрачная вода; законченную гладью смотрит его поверхность. Нежно сияет его глубина в неуловимых, бесчисленных, то голубых, то зеленых оттенках; и все оно прозрачно до самого дна. Там, внизу, видны упавшие когда-то скалы – так глубоко, что глаз не верит расстоянию; видны столетние стволы деревьев – утонувшие дары гор, – целый мир благобно принятых и сохраненных богатств, мир блаженного бытия. Все покоится там, как в ясном сне, – навеки сбереженное, нетленное воспоминание; как помыслы первозданного глубокомыслия; как безмолвные молитвы отшельника. И мало-помалу душа постигает, почему эта дивная тишина вокруг, и почему не слышно горных голосов, почему не щебечут даже птицы, и почему новоприбывшие путники начинают говорить между собой шепотом. Природа умеет беречь свои тайны и хранить священное молчание. И требует того же от людей. И там, где покоится Божественное, там слышен бывает молчаливый ход веков.

Благоговейно обходит путник все озеро и вдруг останавливается в изумлении. Все, что было видно в его глубине, исчезло. В нем появилось новое и величавое, образ захватывающей красоты, целый горный хребет, с утесами и ущельями, со снегом и льдом, с рассеянными клочьями облаков, все в лучах солнца, все светящееся, чудно опрокинутое, как бы свисающее в водную гладь... Не призрак ли?.. Но этот призрак не исчезает, он длится, он пребывает и излучает свет и радость... Может быть, это просто игра лучей и воды? Может быть... Но от этой игры сердце трепещет радостью: оно верит и не верит своему ясновидению, оно слышит гимн Богу, оно чувствует разумность и красоту вселенной и трепетно ждет дальнейших видений света и глубины...

Потрясенный и счастливый, стоит путник у берега, и видит и не верит, и все хочет еще удостовериться и навсегда запомнить увиденное. Пока сердце, переполненное счастьем и благодарностью, не потребует отдыха, и уставшие глаза не зальются влагой. Тогда он садится отдыхать на первый попавшийся камень.

А когда уходит дневной свет и разливаются тихие сумерки, когда появляются первые звезды и полумесяц показывается из-за крутой стены – какая радость искать и

находить все эти образы в потемневшей глубине озера!.. Теперь эта глубина уже не прозрачна; она замкнулась в себе; таинственно и сумрачно молчит ее почерневшая вода, и в этой черной глади колдует лунный свет... И путник не помнит, как он добирается до ночлега и где он спит до самого утра... А там – все уже проснулось и радуется Божией заре...

Как изумительны эти первые, поддонные богатства прозрачного озера, его *собственные вечные помыслы*.. . Как просто и достойно, с какой ясностью и искренностью показывает оно глубину своего существа, посвящая всякого человека в свои тайны. О, чистота сердца! О, прозрачная, щедрая мудрость!

Но как великолепны, как ослепительны его *отраженные видения*.. . Как верно воспринимает его гладь эти дары, как охотно и радостно отдает их всякому оку... Оно радуется всему, исходящему от Отца Света, – и голубому небу, и чуть видимым звездам, и замечтавшемуся вечернему облачку, и вознесшейся голой стене, и каждому дереву, и каждой скале, которым дано счастье поглядеться в него. И передает эту радость каждому новому гостю, каждому усталому страннику, который подойдет и благоговейно посмотрит в его глубину: никто не уйдет без ответа, все унесут с собою утешение, свет и жизненную радость... О, смирение духа! О, созерцательность покоя! О, радость служения!

Так покоится оно в своем простом и строгом окружении, это око мира, воспринимающее и хранящее Божии дары, подобно тому праведнику, который ищет одних небесных видений и свято блюдет ради них чистоту и прозрачность своего сердца. Два мира встречаются в нем, – внутренний мир сокровенных помыслов и внешний мир от Бога идущих видений, – и оба срастаются в единое, светлое и щедрое богатство мудрости.

16. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Современное человечество переживает великую смуту. Колеблются все основы жизни. Замутились все истоки духа. Идет великий распад и грозят все новые и новые беды. В этих бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас искушениях, среди обставших нас страхов – мы снова учимся молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жизни: он выдан началу зла и не имеет силы противостать ему.

Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни ни занимался, – мужчина или женщина, старик или молодой, образованный или необразованный, – должен обладать умением собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная с народной школы и кончая академическим преподаванием. Жизнь несется и проносится в нас, как поток всевозможных ощущений, желаний и страстей; или как множество всяческих забот и занятий; или же как туча пыли, состоящая из разрозненных и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле мы теряем себя и смысл нашей жизни. Нас одолевают, нами овладевают единичные пустяки, лишённые всякого высшего смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза и лишает нас верного видения. Нас засасывает болото страстей и особенно тщеславия и жадности. Нам надо непременно освободиться от всего этого, хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть в этом болоте. Нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь минуты и часы для свободного дыхания и созерцания, когда заботы умолкают, повседневные жизненные содержания забываются и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком человеческого и пошлого. Наши душевные силы, – помыслы, желания, чувствование и воображение, – освобожденные от обыденного и ничтожного, ищут иного, лучшего, обращаются внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет самую *сущность* нашей личности; что есть *главное* в жизни человека; на том, что *священно и светоносно*, что определяет самый *смысл* нашего бытия. И это есть первый шаг к молитве.

Если мне удалось освободиться от повседневности и из хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля оказываются *свободными для лучшего и высшего*. В чем же это «лучшее»? Как найти это «высшее»? Как узнать его? И почему я задаю эти

вопросы, так, как если бы я ничего не знал о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не ставил себе этого вопроса? Или ставил, но не умел разрешить его? Но чем же я жил доселе, если не знаю этого священного и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же заполнена моя повседневная жизнь? Чем освещена она, если не этим светом? Чем освящена она, если не этой святостию? Чем она осмыслена, если этот смысл не дается мне даже в минуты свободы и сосредоточенности?.. И вот от всех этих вопросов душа моя приходит в смятение и растерянность; она видит *пустоту* своей жизни и *ничтожество* своих содержаний и отвечает на это *целостным порывом к лучшему*, к священному, светоносному, жизнеосмысливающему; и в этом порыве постигает, что это может быть только нечто *совершенное, подлинно совершенное* и притом не «фантазия» и не «иллюзия», а *подлинно-реальное подлинное совершенство*. Так рождается во мне *живое желание* Бога и приближения к Нему. Ибо Бог есть подлинно-реальное совершенство, а живой и целостный порыв к нему Есть начавшаяся *молитва*.

Молитва есть сосредоточенный, искренний призыв, обращенный к Сущему Совершенству. Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу; и наша открытая душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. В этом сущность всякой молитвы – и самой мудрой и самой наивной, и безмолвной и обильно-словесной, и просящей и благодарственной. И постольку люди всех религий могли бы молиться совместно.

Но наша, *христианская молитва* определяется не этим. Ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижимому безличному Совершенству, но к живому, совершенному Богу, к нашему Небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божиим и с Духом Святым внимает молитвам своих земных детей. Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый *источник любви*, к которому мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей любви находит Его любовь, укрепляется и утверждается в ней; и воспринимает излучаемую ею благость и силу. Так даются нам три величайших утешения: чувство непосредственного общения с Богом; чувство, что наша молитва может быть услышана Им; и чувство, что Он нас знает, любит и бережет. Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как Бог отвечает ему Любовью на любовь, присуща особенная уверенность в том, что он не может быть покинут Богом, но что он всегда находится в Его любящей руке и под Его благостным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего *сердцем, открытым и искренним сердцем*; и передает себя во власть любящего Отца. И именно поэтому всем нам естественно и необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения с ее искушениями, опасностями и страхами – искать Его покрова, Его помощи, Его света и силы.

Но при этом мы должны соблюдать два основных требования.

Мы не должны воображать, будто мы можем призывать Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях. Ибо наши земные дела бывают низки и своекорыстны, часто – злы, коварны и губительны. Нельзя призывать Бога света в темных и бессовестных начинаниях. Нельзя ждать помощи от Бога любви в делах хищных и ненавистных. Молитва имеет оправдание и смысл только в борьбе за добро.

Если я действительно хочу добра, т. е. такого, что оправдано перед лицом Его любви и совершенства, то я смело и уверенно могу просить Его о помощи. И первая помощь, о которой я могу молиться, это умудрение и озарение души моей в деле выбора и служения: чтобы мне было дано верно отличать добро от зла и безошибочно желать лучшего, совершенного; чтобы мне было даровано чистое созерцание, верное различение, истинное познание и окончательное предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я действительно узнал Его Дело и действительно служу Ему любовью и волею. И если я в этом уверен, тогда я могу просить о помощи, молиться «с дерзновением» (Первое Послание Иоанна 5:14) и спокойно надеяться: «помоги мне в служении Делу Твоему»... Человек, следующий голосу своей христианской совести, молится с великой уверенностью: ибо он молится *вместе со своей совестью, от нее и за нее*.

Известный римский сатирик времен язычества, стоик Персий Флакк говорит, что люди часто просят у богов о таких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже лучшему другу своему решились бы сообщить свою просьбу только на ушко, потихоньку. Такая молитва не только кощунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и бессмысленна, ибо с нею нельзя обращаться к Богу света и любви. Нельзя произносить такую молитву: «Господи, помоги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне удачи в моих преступлениях и увенчай мои грехи успехом и счастьем»... И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а господину своему – дьяволу.

Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть и второе.

Никакая молитва не исключает *моих собственных усилий* и не делает их излишними: моя любовь, мое желание, мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором я молюсь. Если это дело действительно хорошее и верное перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в него свои силы, служить ему, бороться за него, идти против угроз и на всякую опасность. Тогда я молюсь самым служением моим; тогда со мною молятся моя любовь, моя воля, мое мужество и мое верное стояние; тогда я уверен, что служу всеми силами Божьему делу и что моя молитва будет услышана. Господь откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно; очистит мое сердце, чтобы я искренно любил совершенное; укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал духом; и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути и не заблудился. И если бы *моей* силы оказалось недостаточно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, тогда, по молитве нашей, небесная сила сделала бы достижимым недостижимое.

Если же я молюсь *о себе самом*, о моей жизни и о моем благе, то я должен иметь уверенность, что *иду по верным путям жизни*. Молитва, восходящая из чистой совести, бывает чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу человек, который в борьбе за Божие дело не щадит себя самого. Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего Дела, тот чувствует себя любимым и огражденным; и молится Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему отцу. «Господи, не оставь без помощи дитя Свое. Научи и огради Своего верного сына»...

Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. Такая молитва есть целое духовное искусство, и это искусство мы должны восстановить в себе перед лицом настигшей нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и войнах наших дней, – все это есть великое чистилище души, училище веры и молитвы.

17. О МОЛИТВЕ

Человеческий дух не знает более действительного, более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, благословение и целение. И тот, кто этого не испытал, пусть лучше не судит о молитве: ему самому предстоит еще добиться этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он почувствует, что приобщился новому источнику жизни и что в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде не имел даже представления.

Современный человек живет на земле в вечных заботах и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от личного горя к национальным бедствиям. И не знает, что начать и как преодолеть все это; и подчас с ужасом думает о том, что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой смерти. Однако многое зависит от него самого: это он сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл несомого бремени. Ибо путь ему указан: ему стоит только почувствовать свою *духовную свободу* и открыть свое *внутреннее око*. Это и совершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетающая и часто унижительная жизнь началась по-новому и сложилась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, мы не знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о «счастьи», счастье незаметно вырождается у нас в «удовольствие» и «наслаждение», а в погоне за наслаждениями и удовольствиями, мы

забреедем в болото и не знаем, что начать. Но путь, ведущий к жизненному обновлению, известен и не так труден: мы должны *почувствовать сердцем священное в жизни, сосредоточиться на нем нашим созерцанием и зажечь* им, как драгоценным и самым главным. А это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в *несущественностях* быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к пошлomu существованию и сам превращается, по слову юного Гоголя, в «существователя». И вот, нам необходимо научиться *верно различать духовный ранг жизненных содержаний* и приучиться сосредоточивать свое внутреннее внимание *на божественной сущности* вещей, явлений и событий. Ибо жизненные содержания не равны, не равно-ценны, не равно-значительны. Среди них есть ничтожные и есть священные; есть такие, которые возводят душу и сообщают ей особую глубину и крепость, и есть такие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее, делают ее мелкою, страстною и слепую. Есть такие, которыми стоит жить и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, выбирать существенно-священные и жить ими. Тогда и сам человек станет «существенным», он поймет смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной сущностью зримого мира. И путь к этому умению указывает и прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что вступить на этот путь – зависит не от них; что бывают чрезмерно тяжелые времена, которые затрудняют молитвенное обновление жизни; и что земная человеческая власть может лишить человека внутренней свободы и поработить его несущественностями быта. Ибо на самом деле тягчайшие времена посылаются людям именно для того, чтобы они опомнились и обновились; и нет на свете земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю свободу – и прежде всего, *свободу молитвы* – и которая могла бы помешать нашему очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть как бы *школа молитвы* или *воспитание к молитве*. И далее тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве самою жизнью. Ибо для каждого неверующего может настать время величайшей беды, когда его захваченное врасплох и потрясенное сердце вдруг начнет молиться из своей последней глубины – в такой скорбной беспомощности, такими вздохами отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он дотоле и не помышлял. Тогда он почувствует как бы землетрясение во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. Может быть даже так, что человек при этом сам не будет знать, к *Кому* он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, откуда и какое может прийти спасение. Он взывает к *Кому-то*, Кто *все* может, даже и невозможное; он молит этого *Неизвестного* о помощи, которая уже не в человеческих силах, – молит в твердой уверенности, что *есть* на свете истинная Благость и она внемлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей Благости он и обращается с молитвой, которая, как водный поток, внезапно прорывает все прежние плотины... Он говорит с этим Существом так, как если бы он видел Его перед собою, как если бы он знал Его от века...

И потом, когда проходит этот порыв, у него остается такое чувство, что он *всегда* веровал в этого Всеблагого-Всемогущего, всегда предполагал Его присутствие – каждым дыханием своим, и вот, только теперь впервые нашел Его. То, чего ему доселе не доставало, был *душевный подъем к молитвенному вдохновению*. Ему нужно было *мужество сердца*, чтобы противостоять всем своим и чужим предрассудкам; нужна была *цельность души*, возникшая ныне из инстинктивного отчаяния; ему нужна была *мудрость сердца*, которая восторжествовала бы над глупостью ума; *вдохновение*, не посещавшее душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, ибо чувствовал себя расколотым и исцеленным. Может быть, он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в себе внутреннюю раздвоенность, и потому «запрещал» себе молитву по соображениям «внутренней честности»... В этом обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, «верующей» в ум, в анализ и культивирующей всяческое разложение... И только великие бедствия нашего времени дают людям способность преодолеть эти внутренние

препятствия: они потрясают все наше существо до корня, смывают предрассудки, обнажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь в действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая молитва требует *всего* человека и захватывает его *целиком*. Она может излиться и в связных словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе с Андреем Юродивым лишь восклицать в слезах: «Господи! Господи!! Господи!!!..» И это единое, сердцем насыщенное слово будет весить более, чем множество душевно-полупустых слов. Молитва может найти себе выражение и в благочестивых движениях и обрядах; но бывают и такие молитвы, при которых внешние движения и свершения отпадают совсем. Тяжело раненный не может даже перекреститься. Неподвижно лежащий в окопе не смеет даже пошевелиться. А люди, живущие в эпоху гонения на веру, во время церковного террора, вырабатывают в себе умение молиться *внутренней молитвой сердца*, которая горит внутренним огнем при совершенно неподвижном, ничего не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует *всю* душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет; все способности души – в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние так: «собранный должен гореть». Здесь *мысль* не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий и единый огонь. Здесь нет отдельных *волевых* решений, но вся стремящая *сила воли* направлена целиком к единому Предмету. *Сердце* с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души; именно в нем сосредоточивается и сила *созерцания*, исходя из него и возвращаясь в него.

Вот почему молитва есть некий *сердечный жар*, который все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть некий *духовный свет*, собирающий лучи, подобно увеличительному стеклу, в единый центр: в этом центре начинается горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это горение есть его личное, субъективное состояние, которым все и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит личную душу в *сверхличное Пламя*, отзывающееся на личный призыв и включающее в Себя лично-возгоревшееся сердце. Человеческий огонь может и должен приобщаться в молитве *Божьему Пламени* – и в этом состоит таинственный смысл и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется божественным Огнем и уподобляется «неопалимой купине». Личный огонь растворяется в Божием и человек теряет себя в Его Огнилице. В настоящей молитве человек забывает и теряет себя: он уже не полнит, что он «есть», не ощущает своего земного естества; он видит и чувствует себя как бы в некоем *огненном столе*, восходящем вверх, и слышит, как из души его восходят «неизреченные вздыхания» «самого Духа» (Рим 8:26)... И в этом свете и огне он остается дотоле, доколе выносят его сердце и дыхание.

Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чувствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою исконную и священную родину; или еще, – как если бы обновилось самое естество (субстанция) его духовной личности; как если бы его смыл благодатный поток чистоты видения и ведения, утешения и покоя. Он удостоверился в том, что истинная *благодать* и истинная *Сила* суть едино; он чувствует себя приобщившимся этой благодатной силе; он напился из источника жизни и любви.

После такой молитвы, – даже если она продолжалась всего единую минуту, – у человека остается в сердце некий неугасающий, сияющий *уголь*, который разливает свое сияние через все внутренние пространства личной души и всегда готов снова вспыхнуть лично-сверхличным пламенем. Это можно было бы и так описать: от настоящей молитвы остается в душе *тихое, тайное, бессловесное молитвова-ние*, подобное немеркнущему, спокойному, но властному свету. Оно непрестанно излучается из глубины сердца, как бы желая осветить и освятить все жизненные содержания души. Это как бы тихое дуновение Божие, идущее из потустороннего мира. Это есть как бы незакрывающаяся дверь в алтарь,

к священному месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает это дивное чувство, будто Потустороннее стало посюсторонним для его сердца и совести.

А между тем, жизнь совершает свой неудержимый ход: и человеку иногда кажется, что не произошло ничего особенного, только, что в нем живет это сияние безмолвной, тихо-трепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери соединения, и знает, что она ведет к ключу целительной воды. Поэтому он может вершить свои жизненные дела, есть, пить и спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет не покидает его: он будет мерою вспыхивать и очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, освещая в них добро и зло, утверждая его в благе и отнимая у него возможность совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. Человек может забывать про этот, тихо тлеющий в нем, уголь безмолвной молитвы; но уголь этот будет неосызаемо вершить свое великое дело – жизнеосмыслива-ющее, очистительное, освящающее и исцеляющее. И стоит только человеку опять постучать в эту дверь и воззвать к этому свету – и снова разгорится огонь, запоеет сердце, заструится живая любовь, заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир с дивной перспективой личного бессмертия. И опять он почувствует себя у берега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире.

Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, предпогибельная молитва ужаса и отчаяния – была лишь первым, беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. Теперь он молится уже по-иному: свободным воспламенением, непрерывным излучением, всецелым включением своей жизни. И эти виды молитвы суть *высшие*. Их бывает много, столько, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов. Всех видов молитвы «столько, сколько в одной душе или во всех душах может породиться разных состояний и настроений» (Иоанн Кассиан Римлянин). Есть молитвы благодарности, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва может внимать дыханию Божию, созерцать мудрость Творца и даровать человеку очевидность; молитва может сомневаться, вопрошать, отчаиваться, скорбеть и призывать. Коперник молитвенно внимал законам природы. Фехнер молился вместе с цветами и деревьями. Сегантини преклонялся перед горами, как перед алтарями Божиими. Ломоносов молился вместе с северным сиянием. Державин – созерцая брэнность земного и бессмертие Божественного. Пушкин – каждым актом вдохновения. Лермонтов – с ландышами у ручья. Человеку дана от Бога *великая молитвенная свобода, свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву*; наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит Лесков в «Соборьянах»: «Боже, устрой, и умножь, и возрасти, на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего, произволя-ющего, благословляющего и неблагодарного»...

Так, есть молитва изнеможения, произносимая со многими слезами и дающая *укрепление*: «Господи, не могу больше»...

И есть молитва без слов и без слез, мгновенная, созерцательно-лучевая: единый взгляд духовного ока, направленный горе – «Он есть, Он бдит, и я есмь Его орудие». Это молитва *утешения и силы*.

И есть молитва сердечного тепла, подобная этой: коснуться в самом себе Его неугасающего угля; и только.

А в путях и страданиях личной жизни всегда будет иметь судьбоносное значение молитва *служения и одоления*: «Вот я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твоей, мудрости Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай меня на поругание врагам Твоим; изведи меня от угроз их. И соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо свобода моя – в свершении воли Твоей».

И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а молитва – истинным источником жизни и творческой силы.

18. О МИРОВОЙ СКОРБИ

Поистине, это один из основных законов нашего мира, что все существа и все вещи *несовершенны* и должны *восходить к совершенству в борьбе и страдании*. Значение этого закона так велико и глубоко в жизни и творчестве людей, что настоящая зрелость человека начинается лишь с того момента, когда он продумает и прочувствует этот закон во всех его последствиях и выводах. Все, что есть хорошего, значительного, непреходящего, а особенно гениального и божественного в человеческой культуре, – все могло быть создано человеком только в страдании, вседолжно было быть заслужено и оправдано им. Это и имел ввиду глубокомысленный чешский мистик Якоб Бёме, когда говорил, что качество родится из муки...^[15]

Постигнуть этот закон значит получить некое благодатное облегчение в той духовной беспомощности, которая грозит всем людям на земле. Ибо это постижение как бы извлекает нас из мутного потока жизни и, подняв нас, хотя бы на миг, над страдающим миром, показывает нам его *извне и сверху*. И если человек дотоле жил как тварь среди твари, то отныне он приобретает способность выйти духом из ее состава, увидеть ее муку и поставить вопрос о смысле ее бытия и ее мучений. Доселе он только *мучился* в мире среди прочей твари; отныне он восходит на высшую ступень бытия, ибо ему дано *страдать о страданиях мира*, т. е. испытывать *мировую скорбь*.

Растение и животное страдают *в мире*, оставаясь в его составе и составляя его собою, но им не дано страдать *о мире и за мир*. Человеку дан высокий дар возноситься над тварною жизнью мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее, страдающую. Поэтому человек призван понять и постигнуть, что *все живое должно страдать*. Человек должен прислушиваться ко вздоху и стону вселенной, включая сюда и человеческую тварь, внимать ей открытым сердцем и приобщаться мировой скорби через *бескорыстное сострадание*. Мы должны вчувствоваться в муку и жалобы стенающей природы и забывать в этом вчувствовании наше собственное страдание. Мы должны принять на себя страдание живых существ и понести его, как общий и единый крест мира; и попытаться постигнуть скрытый, но глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся мировой скорби, т. е. страданию о страдании мира. И предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную близость к Богу...

Пока человек пленен и ослеплен своим собственным личным страданием, пока он мечется в беспомощности и сослепу не видит исхода, – он побежден своею тварностью и не находит пути к Богу. Он должен выйти духом из себя, вознестись над собою и увидеть страдание ближнего, всех людей, всей твари. Сначала он ужаснется, и этот ужас перед мукою мира вызовет в нем возмущение, ропот и, может быть, даже восстание; и эти чувства и настроения поведут его *не к Богу*, а уведут его *от Бога* и, может быть, даже подвигнут его *против* Бога. Ибо слепое возмущение свойственно именно твари в ее отношении к другой твари; если же оно направляется вверх, против Бога, то оно не освобождает тварь от ее тварности, но оставляет ее в слепоте, доводит ее до ожесточения и делает ее *восставшею тварью*. Человек, ослепший от ужаса, не видит вдаль и вглубь, он противится свету и разуму и уходит в отвращение и отвержение. Созерцание мировой муки требует мужества, а этого мужества у него нет. Созерцание должно окрылить его, а он остается бескрылым. Тварный страх уводит его в темные погребя безнадежности, пессимизма и Бого-отрицания. И в этой тьме им постепенно овладевает аффектированный, вызывающий «демонизм» и упоенный ненавистью и гордостью *сатанизм*. И «скорбь» его становится безбожною, озлобленною и разрушительною. Именно такова была судьба всей «пессимистической» философии и литературы девятнадцатого века.

Только любовь освобождает и спасает человека. Ее первая и элементарная форма есть жалость к страдающему. Человек вчувствуется в чужую муку, со-испытывает ее и начинает проявлять живое, творческое участие. Он забывает о себе, живя чужим страданием, и этим освобождает себя от пребывания в собственной боли и личном горе.

Его *собственная тварность* уже не связывает и не ослепляет его, но зато *чужая тварность* начинает овладевать им и заполнять его жизнь и душу. И если он не заметит этого вовремя и не преодолеет этот новый плен, то он скоро окажется *пленником чужой тварной муки*. Пока жалость остается последним словом или высшим проявлением его любви, всякое страдание живого существа кажется ему бедою или несчастьем, а в тварной муке он видит сущее «зло» (Лев Толстой). Он начинает верить, что высшая цель жизни состоит в *избавлении человечества от страдания*. Он уже не может видеть страдающее существо, и борьба против страдания становится для него главной задачей. Безболезненная жизнь кажется ему высшим земным благом.

Это означает, что сострадательный человек *нашел своего ближнего*; и это очень хорошо. Но *смысл страдания* он не постигнул и *назначение человека* ему не открылось. Любя человека, он любит в нем не поборающего и освобождающегося «ангела», скрытого в глубине страдающей души, но вздыхающую и стонающую тварь; и на себя он берет не помощь «ангелу», а служение твари; и цель его не в том, чтобы страдающий дух очистился и победил, а в том, чтобы облегчить мучение твари. Вот почему жалостливый человек все еще подавлен страхом и ужасом; он все еще проклинает страдание и не постигает ни его смысла, ни его благодатности; он все еще боится муки и не знает ничего о ее творческом преодолении и просветлении. И потому его «мировая скорбь» не возводит его к Богу: он остается в пределах «гуманности» и «сентиментальности», и луч Божий не озаряет ее. А как помочь страдающей твари, борющейся, ищущей и взывающей к Богу – он не знает.

Любовь только тогда освобождает, когда человек воспринимает в человеке *сына Божия*, страдающего, одолевающего и очищающегося страданием. Каждый из нас есть Божие дитя, странствующее по земле в образе человеческой твари. Но именно человеческая тварность возлагает на каждого из нас тот способ земной жизни, со всеми его несовершенствами, трудностями и противоречиями, который неизменно и непременно присущ каждому человеку. Поэтому каждый из нас должен спокойно, достойно и терпеливо принимать все обусловленные этим боли и страдания, «нести свой крест» и учиться творческому преодолению посланного. Нам не следует приходить в чрезмерный ужас при виде страдающей твари. Нам не подобает спасаться любой ценой от боли и горя. Мы должны постигнуть необходимость страдания, его высшую духовную целесообразность и одухотворяющую силу, и раз навсегда усвоить его мировой смысл.

В отделении или даже удалении от Бога человеческая тварь должна страдать. Это страдание *зовет* ее к Богу и *ведет* ее к Богу; для этого страдание и посылается; в этом его назначение; таков его высший смысл. Растение и животное подвержены этому элементарному мировому страданию в его низшей «потенции» и не умеют претворять его в борьбу и просветление. Но человек имеет высшее призвание: он должен принять посланное ему страдание как «посланное» ему, как призыв к очищению, как свободную, личную борьбу за творческое просветление личности.

Божие дитя страдает на земле потому, что это страдание возводит его к Отцу: в борьбе и одолении оно стремится к своей блаженной первородине. Мучение твари ужасно, если она не понимает высшего смысла своего страдания и не находит своего восходящего пути: тогда оно является с виду бессмысленной мукой. Но если тварь находит и смысл и путь, и если этот высший смысл страдания исполняется и осуществляется, тогда не следует ужасаться и роптать, и тогда сентиментальная жалость не является словом земной мудрости. Тогда страдание осмыслено и оправдано; и мы должны воспринимать его как зов и благословение.

Тогда перед нами открывается великая творческая мистерия мира и мы можем воспринимать ее и сердцем, и взором, и разумом. Душа наша наполняется мировой скорбью; и эта скорбь действительно возводит нас в «пространства», близкие к Богу.

Бог есть первый и высший источник живой любви. Поэтому он не может не страдать, видя, как созданная им живая тварь вздыхает и стонет в ожидании.

Первоначально Он страдает не *в мире*, а *о мире*, ибо вздохи и стоны твари восходят к Его престолу. Но потом Он нисходит в мир, приемлет тварный образ, кровь и плоть, дыхание и муку. Он приобщается жизни мира и страдает в составе мира, вместе со страдающей тварью. Он принимает на Себя иго и бремя человека, чтобы открыть ему и даровать божественное искусство освобождающего, избавительного, духовно-творческого страдания. Бог становится человеком, чтобы избавить отпавшего и слепого человека от обреченности бессмысленному страданию; Бог становится человеком, чтобы возвести человека к Богу.

Человеку открывается новый путь; он должен увидеть его, свободно признать его и свободно избрать его. Тогда он преодолевает страдание в мире и превращает его в повод, в исходный пункт, в источник творческого очищения и просветления. Сначала он научается этому в самом себе и на самом себе; потом он пытается научить этому других людей. Тогда он постигает смысл мирового страдания и поднимается до истинной, до творческой мировой скорби. Он видит, как страдает и борется человеческая тварь. Он видит, что Бог принимает на Себя ее иго и бремя. И он несет вместе с тварью и вослед за Господом творческое страдание мира.

Таков истинный образ мировой скорби. Усвоив его, человек молится уже не о том, чтобы мир избавился от бед и страданий, но о том, чтобы страдание мира стало осмысленным, возводящим, творческим и просветляющим – о том, чтобы оно было облегчено, чтобы оно достигло своей высшей цели, чтобы оно совершилось и завершилось на Божиих путях.

19. ГОРЫ

В безмерной дали веков, вскоре после сотворения мира, когда земля ощутила впервые свою первозданную форму и свои пределы, она опечалилась и воскорбела: ибо она увидела себя отверженной и униженной, оторванной от света и отдаленной от неба, вровень приглаженной, голой, пустынной и беспомощной... И стала она вздыхать и роптать: и возмущалась, и поднялась, и восстала мятежом. Это было буйное восстание, страшное и хаотическое. Но оно шло из последней глубины; оно было искренне, и искры его летели к небу: оно было пламенное, и пламя его молилось Творцу; и от этого огня плавилась утеса, и первобытные камни текли потоком... Это был великий подъем глубин, жажда света, стремление к небу, извержение творческой воли... Восстала мечта о новых, совершеннейших формах, о новом богатстве бытия, о приближении земли к небу... И это восстание было влечением к Богу, ропщущей молитвой, мольбой о неотвержении отвергнутого...

И увидел Господь в своей вечной благодати – это воздыхание и эту бунтующую мольбу; и великий подъем глубин нашел Его благоволение: ибо косная пассивность и рабская покорность никогда не были угодны Ему, а всякий искренний порыв и молитвенный ропот приемлются в небесах, как молитва тоскующей твари. Потому благословил Господь это восстание земли и не позволил ему распасться в ничтожество, но повелел ему сохраниться навеки: возноситься к небу молчаливой молитвой, пробуждаться с благодатной зарею и блаженно расцветать в последних лучах уходящего солнца. А человеку Господь повелел созерцать эту таинственную запись прошлого и постигать ее сокровенный смысл.

И созерцая ее, мы называем ее ныне *горами*.

Когда я вижу снежные горы, поднимающиеся вдали к облакам, – сердце мое трепещет от нежданного счастья: в нем просыпаются какие-то угасшие древние воспоминания... как если бы я уже созерцал когда-то эти видения и потом всегда тосковал по ним, как если бы начинали исполняться самые дивные и священные обетования... Я стою захваченный и потрясенный и не знаю, можно ли верить этим призракам... Как легко, как смел этот взмах к небесам. Как нежны, как призрачны очертания. И как могущественны скрытые за ними земные массы. Я вижу землю, восходящую к небу, я вижу небо, ее обнимающее, я вижу, как земля теряется в небе, сливается с ним, – может

быть, сама становится небом? Не сон ли это? Или, может быть, это видение есть сушая реальность, а плоская жизнь повседневности – всего-навсего тягостный сон? Откуда во мне эта блаженная тревога, это чувство приближающейся родины?.. Как если бы это издали светящееся великолепие, это обетованное будущее – возникло из моего интимного прошлого, из моего довременного бытия... Или, может быть, душа моя настолько «ветха деньми», что я и в самом деле мог присутствовать при образовании миров? Или, может быть, эти далекие горы повествуют мне о том, чем я сам был, и что я есмь, и чем я буду, и какое великолепие ожидает меня впереди?..

Нежные видения. Пророческие образы. Божии сны...

Но вид исчез. Воздушные призраки скрылись в земном тумане и в небесных облаках. И только сердце шепчет мне о возможности невозможного...

А потом горы принимают меня в свою среду и несут меня вверх, спокойно и благостно позволяя мне попить их ногою и карабкаться по их крутым обрывам. Их спокойствие передается мне, и я иду все выше и выше. Медленно взбираюсь я; торопиться нельзя и незачем; много времени нужно, чтобы одолеть высоту, чтобы привыкнуть к ней, чтобы не закружилась голова от этого дремлющего горного мятежа, чтобы не пресеклось дыхание от этой стихийной молитвы... Вот я уже устал, но с усталостью я не могу и не хочу считаться. Таинственная сила зовет меня кверху. Во мне проснулось некое влечение, как если бы меня захватил мощный довременный подъем, которому нельзя противостоять, – вверх, вверх, все выше, – и только исчерпав последние силы можно отпасть и отказаться от восхождения... но и тогда в душе осталось бы чувство, будто я постыдно изнемог в великом деле... Нет, это невозможно, надо идти и дойти, чтобы пережить смысл и судьбу древнего восстания, чтобы научиться мятежной молитве гор...

И каждый миг все вокруг меняется: новые провалы, невиданные глубины, вознесшиеся высоты. Каждый поворот открывает непредвиденное. Каждый обрыв говорит о страшных событиях прошлого и о предстоящих новых оформлениях. Самое дикое – прекрасно. Самое ужасное – закончено... Вот что снилось земле тогда, в предвечной давности; вот какое богатство новых возможностей и новых форм предносилось ей тогда... И душу охватывает счастье от того, что ей позволено увидеть и пережить эту древнюю мистерию бытия.

И потом – этот воздух, которым мы дышим... Сначала – благоуханный и цветочный, потом – смолистый и разреженный, и наконец, – режущий холодом, ледяной и жгучий. Там, у нас, внизу, воздух густой и пыльный, вязкий и липкий; люди привыкают к нему и не замечают, что они вдыхают и глотают. Но здесь он струится сверху, как вода ледяного ключа, как небесный дар, как Божие благословение. Он кажется резким и колючим, и мнится, что его «мало», что тебе его не хватит. Но это надо побороть, к этому можно привыкнуть. Надо помнить, что близость к небу непривычна для человека, что ты переживаешь борьбу и судьбу первобытной земли, возжелавшей горней чистоты и приближения к Богу... А близость к Богу – требует иных способностей и новых усилий от грешной твари...

И вот, наконец, подъем закончен. Я наверху, в суровом уединении гор. Все исчезло – аромат цветов и гигантские сосны, стада и хижины. В строгом спокойствии смотрит на меня древний Хаос. Величаво молчат серо-желтые, голые утесы. В тяжелых сновидениях лежат обрывающиеся ледники, засыпанные сверху черной каменной пылью. И повсюду – захватывающая душу, потрясающая тишина, от которой слышны удары собственного сердца и в ушах начинает звенеть...

Да, все, что есть в мире великого, живет в молчании. И говорит тишиною. Если закрыл глаза, то кажется, что вокруг законченная пустота, полное отсутствие бытия. А если открыть их, то дивишься совершенному беззвучию этого обилия, этих каменных масс, этих грозных глыб... Горы не любят шума: они как бы ушли в себя, в свою сокровенную жизнь; и таят про себя свои издревле зреющие помыслы. И только обвалы и лавины, не выдержав этого молчаливого величия, с грохотом и прахом свергаются вниз;

да потоки вод, скатываясь в долину, выдают своим кипеньем и журчаньем тайные замыслы горных вершин. Но самые горы вещают только высочайшей тишиною, только своими незавершенно-завершенными очертаниями, только таинственной сопринадлежностью своих линий и масс...

Молчаливая красота. Строгая благость. Скромное величие... И все вместе – подобно вечным гимнам. Царство беззвучных симфоний.

Стоишь и слушаешь это беззвучие. И учишься блюсти в высоких сферах жизни целомудренную тишину. Учиться блюсти свое достоинство, ни на что не притязая; и постигаешь, что истинное величие облекается в смирение. В борьбе за высоту, восхождении к Богу не нужно шума; надо, чтобы вся жизнь стала тихой молитвой, и тогда она вознесется хвалой и светлым благодарением...

В далекие, предвечные времена воскорбела земля о своей судьбе и возропала к Богу великим восстанием. И осталась в этом смятении. И застыла в своем мятеже. И мятеж ее был молитвою, а молитва ее была творческим хаосом. И вот этот хаос покорился Божьему слову, и восстание превратилось в гимн благодарности. Вдохновенный подъем смирился под Божиим благословением, а вознесенные скалы сдружились с лучами небесного света.

И горы почили в своей тишине, приемля некое бого-подобие и раскрывая людям свой таинственный смысл в поучение и преображение.

IV. ПОСЕЩЕНИЕ

20. СОЗЕРЦАЮЩИЙ ПОЭТ

Мы, созерцающие поэты, уверены в том, что все, сущее на земле и на небе, может быть узрено или услышано нами, и что все ждет от нас изображения и истолкования... Все, даже самое нежное, лишенное чувственного образа; беззвучное, незримое и сокровенное... Мы не знаем сами, почему мы в этом уверены, как это нам удастся и что мы делаем для этого. Никакая преднамеренность тут не поможет. И никакого «метода» мы указать не умеем. Нельзя же назвать «методом» – наше самозабвенное мечтание, наше созерцающее «погружение», наше сосредоточенное «отсутствие» и забвение окружающей жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, что сновидение есть сновидение, что фантазия может разойтись с действительностью и что поэт – плохой свидетель в делах повседневности: уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, «присутствуя отсутствует»...

«Мечта»... «Сновидение»... «Фантазия»... Но разве все это так бессильно и ничтожно? Разве созерцающий мечтатель и вправду не более, чем «сочинитель», как говорили в эпоху Гоголя? Неужели его созерцания так-таки ничего и не стоят? А может быть – наоборот? Может быть, именно созерцающий поэт, этот мечтающий *сновидец* – и есть *ясновидец* и мастер в делах истинного бытия? Я разумею, конечно, не ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только себя самого во всевозможных чужих обли-чиях, сам на себя удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь всевозможными страстями... Нет, я имею в виду *видения созерцающего поэта*. А это совсем иное.

Мы все могли бы согласиться в том, что сущность мироздания, его таинственная «самосуть», или, как говорят, «мировая душа» – остается сокровенною и не открывается людям легко, быстро или, тем более, исчерпывающе. Мы, поэты-мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о ней хоть что-нибудь; очень возможно, что они и в самом деле ничего о ней не знают; иногда они и сами открыто признаются в этом. Что же касается нас, то *мы* склонны допустить, что мир погружен в некий таинственный «сон»: он ушел в себя, погрузился в свою собственную глубину и скрыл свою настоящую сущность от посторонних взглядов; а мы... Мы следуем за ним, мы пытаемся настигнуть его на его собственных путях и воспринять его живую самосуть.

Когда поэт предается творчеству, то он уже не «спит». Но чтобы настигнуть ушедшую от него тайну мира, он вослед за нею тоже как бы «засыпает». В нем засыпает

его трезвое и беспомощное дневное сознание, с его близоруким восприятием и с его по-видимому столь «умными» рассудочными мыслями. Этот ограниченный, подслеповатый «субъект» погружается в дрему, растворяется в некоей душевной сумеречности и «исключается» как орган познания. Этим он освобождает место новому, с виду «сонному», на самом же деле *вдохновенному и проникновенному духовному созерцанию*. Тогда в душе просыпаются иные, окрыленные силы и перед нею раскрываются иные пространства. Словно разверзаются пол и потолок; они как бы свертываются и исчезают. Как во время ветра, дующего с гор, воздух становится прозрачным, далекое кажется близким, незримое становится зримым и глаз начинает видеть первозданную красоту и глубину; так и поэт видит звезды при полном дневном свете, как если бы он смотрел из глубокого колодца; он слышит в ночном мраке таинственные голоса мира и касается сокровенных сил его самосутности. Вдохновенный поэт внемлет, по слову Пушкина, «неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье»... Он вступает в иной мир, или, может быть, новый мир вступает в него и овладевает им. Он пребывает в этом мире, он непосредственно приобщается ему, созерцает его, слышит его, живет его таинственным естеством. Он теряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной, первозданной стихии бытия. Он «засыпает» и «спит» вместе с миром и видит *его «сновидения»*: он созерцает его творчески-движущую, священную Идею – *Божью Идею мироздания*. Он живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями и приобщается к ее творческому действию...

Если посмотреть на дело извне и выразить его на обыденно-трезвом языке – то это «сон наяву», «поэтическое мечтание», «полет фантазии», а может быть, даже «бесмыслица»... Но в действительности это не сон, а «пробуждение»: поэт просыпается для *внутреннейшего и реальнейшего* в жизни, ему открывается *живая самосуть бытия*...

И то, что он «слышит» и «видит», есть нечто совсем иное по сравнению с тем, что нам несут обычные чувственные восприятия. Солнце поет ему величественный гимн; звезды несут ему знамения и пророчества; он видит, как молятся горы; он слышит, о чем мечтает ручей; море зовет его и обещает ему живую бесконечность; тихий, чистый снег несет ему дивное утешение. Вся вселенная полна дремлющей любви и молчаливого пения. Цветы таят свои помыслы и настроения. Птицы знают о многом неведомом и могут предсказывать. Гордые замыслы зреют в деревьях и потоках. И никто не поверит поэту, если он попытается рассказать о том, что ему принес ветер...

Пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании, он не может «творить», «сочинять» или создавать новые образы и формы. Но это состояние не может и не должно слишком долго продолжаться; иначе поэт может не вернуться больше в жизнь... Оно прекращается и исчезает; и он вновь возвращается к повседневной обстановке. Он возвращается обычно слегка «ошалевшим», утомленным и беспомощным, но обогащенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд, сокровище, которое он никогда не сможет исчерпать описанием и оформлением. А сколько он, может быть, еще растеривает «по дороге», забывает, не находит... И потому то, что ему удастся сберечь и принести, кажется ему самому не то оскудевшим, не то поредевшим, не то искаженным... Иногда у него бывает такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что изнемогавший от богатства, видит перед собою одни черепки и пытается их зачем-то подсчитать...

И все-таки, все-таки – он *приобщился сокровенному естеству мира и воспринял его священную самосуть*. И вот все собранное и сбереженное желает найти себе верное выражение, глубокое истолкование, прекрасное обличив, художественную форму...

Лучше не спрашивать нас, как мы находим это истолкование и эту форму... У кого хватит силы, чтобы выговорить Божии Идеи? Кто найдет для них верные и точные выражения? В смиренной беспомощности помышляет об этом поэт; им то и дело овладевает сознание своего бессилия и робкая растерянность. И только сила внутреннего

заряда, только *вдохновенное восстание самих сбереженных богатств* заставляет его приступить к делу.

Один выражает узренное в звуках и пении. Другой рисует. Третий ищет художественно точных слов. Иные лепят или строят; иные пытаются найти верные телодвижения в танце. Но все, что они создают, – эти созерцающие поэты, – все идет не *от* них самих, а *через* них. Все создания их *больше* их самих: ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосуты мира.

А у того, кто верно слышит их пение, трепещет сердце и радуется дух; и постепенно слагается новое чувство, новая уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру: «Нет, это не поэтический вымысел поэта. Это *древне*, как мир... И в то же время – *ново* и юно, как сегодняшней день... То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни, и драгоценно, как откровение... Я коснулся сокровенной правды мира и был счастлив»...

А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, те пожимают плечом и отходят; им это «не нравится», они обзывают нас «выдумщиками» и «фантазерами» и корят нас за самоуверенность и притязательность... Тогда мы смущаемся, и смолкаем, и сконфуженно уходим в наш угол; потому что мы ничего не умеем «доказать», мы можем только «показывать», а поднимать спор о видениях потустороннего мира – непозволительно и неприлично...

21. ОГОНЬ

Я могу часами сидеть перед камином и смотреть в огонь. На душу сходит дивная тишина и кажется, что видишь необычайные дали и глубины. Радостно играет свет. Капризно и причудливо ложатся тени. Ласково струится дыхание тепла. И мне чудится, будто в душе моей просыпаются забытые мечты моих предков; встают передо мною величавые образы; я постигаю какие-то древние законы, вечные истины; я ухожу в прошлое и теряю чувство времени. Радость и грусть борются в моем сердце; и где-то, в последней глубине пробуждается щемящая тоска по утраченной, но блаженной родине. Тогда я чувствую, будто знаю гораздо больше того, чем доселе предполагал; будто мне открывается самая сущность мироздания; будто я касаюсь края ризы Божией...

Но сначала надо вызвать огонь к жизни: «приди, таинственная сила, посети и освети мой темный очаг и прими в свою власть чающее тебя древо». И вот вспыхивает первый синеватый огонек, осторожно, робко, как будто осматриваясь, вправду ли его зовут, можно ли ему довериться, готова ли для него пища?.. И потом, отзываясь и доверяясь, огонь все охотнее, все с большим увлечением вступает в жизнь, радуясь благоговейному призыву и расцветая в гостеприимном воздухе. Длинными языками охватывает он поленья, лаская и забирая их, и превращаясь в вольное пламя; легким хрустом, тихим шипением отвечают они ему, принимая и не принимая его игру, и медленно накаляясь от его жгучего дыхания. А потом уже начинается общий праздник: свет и радость, вспышки и треск, искры и обвалы, угольное тление и дымные струи. И благодатное, всепроникающее тепло... А я сижу и смотрю, как прикованный, созерцаю эту чудную стихию и вижу через нее жизнь человечества и строй мироздания. И кажется мне, что время уже не властно надо мною.

Так сидели у домашнего очага наши далекие предки, и смотрели в огонь и размышляли о своей суровой жизни и об ее опасностях, предвидели новые вторжения врагов и готовились к отпору. Ибо вся история России протекала в борьбе, и душа русского человека всегда нуждалась в жертвенной готовности. И вот то, что человек подолгу и неотрывно созерцает, предаваясь и вчувствуясь, – то становится его даром, его живым прообразом, источником силы и воодушевления. Душа человека незаметно отождествляется со своим любимым символом... И от созерцания огня души наших предков сами становились огнеподобными: *живыми, легкими, интенсивными, ясными, светящимися и сильными*. Недаром восток создал религию «огнепоклонников»; недаром он видел в пламени символ Божества, дарующего *очищение и очевидность*...

Но огонь учил наших предков еще *свободе и единению*. Ибо там, где живет древнее пламя домашнего очага – там личная оседлость человека, там его *собственный* дом, его неприкосновенное, свободное жилище. Пусть мала его хижина, пусть невелика его домашняя власть, но в этих пределах он желает быть *свободным хозяином* и имеет право на это. Домашний очаг был у всех народов первым священным приютом *свободы и самостоятельности*. У очага собиралась вся семья и чувствовала свое единство; люди рассказывали друг другу о заботах и о горе, об удачах и о радостях; они советовались друг с другом о нуждах и опасностях. Они зажигали лампаду перед иконою и читали священное писание. Здесь рассказывались сказки и былины. И когда огонь угасал, легкие призрачные тени скользили по стенам, былль и небывальщина смешивались воедино и мир фантазии населял трезвую и суровую жизнь людей...

Какое счастье – вновь очутиться в этой первой школе бытия, снова предаться созерцанию древней стихии и по-новому внять опыту, и скорби, и мудрости предков!

Как воздушно, как легко бытие этой таинственной силы. Пламя, подобно ветру, есть самое легкое и подвижное существо мира... Его жизнь есть вечное бодрствование, вечное распространение, вечное поглощение. Где огонь вспыхивает, там он утверждает свою власть и празднует свою победу. Вот почему он является символом *радостного преодоления*, естественного триумфа, победоносного танца.

Да и могло ли быть иначе? Ведь огонь есть величайшая сила мира. Он есть источник жизни и судьба вселенной – живое дыхание Божие. Он светит и показывает; поэтому без огня нет ни *очевидности*, ни *откровения*. От него идет тепло и жар: поэтому ни *жизнь*, ни *любовь* невозможны без пламени. Он несет нам очищение и зовет нас к новым формам бытия: кто жаждет *чистоты*, тот должен готовиться в духе к огненному очищению, а кто ищет *прекрасной формы*, тот должен сам возгореться внутренним пламенем. Огонь имеет власть преобразить и уничтожить: вот почему во всяком живом существе живет *влечение* к огню и *страх* перед огнем.

Пламенно горит солнце в середине мирового вращения – и земля кружится вокруг него в священном трепете и тихом блаженстве. Пламя живет и в глубине нашей планеты – и все земное ощущает благодатность этого сокровенного жара, и содрогается от ужаса, когда это пламя обращается к нам, сотрясая под нами землю. И где бы у нас ни загорался огонь – всюду тотчас же собираются люди, влекомые его видом, и жаром, и силою, и дивятся, как прикованные, и никак не могут наглядеться, вчувствуясь и трепеща, словно желая войти в него, слиться с ним и загореться; но берегутся огня, и готовы бежать от него, ибо то, что земной огонь захватит в свою власть, он сожжет, испепелит и уничтожит...

Так, вся тварь стремится к огню – и пугается, как только он вступает в свою полную силу и развертывает все свое великолепие... Как ужасно было бы, если бы огонь совсем угас в мире и навеки воцарились мрак и холод... Какой страх объял бы вселенную, если бы пламя овладело всем сущим и испепелило его до конца.

Но мир создан в благом порядке. Благостно и мудро распределены среди твари дары огня. Каждое существо приобщается ему лишь в меру своих сил и способностей, приемля лишь столько от его света, от его напряжения, от его могущества, сколько оно в состоянии вынести. И все, что приемлет от огня, приемлет как бы *искру Божию* – чтобы достойно отвечать самому Творцу и Его дивному миру из глубины своего естества.

Вот откуда этот таинственный отблеск, испускаемый драгоценным камнем, этот слепящий луч алмаза, этот мягкий и бархатный огонь рубина, этот пламень желтого топаза, это сверкание изумруда и аквамарина, этот глубокий и скрытый огонь альмандина и хризоберилла...

А у растения – дано цветку, с его невинно-сияющим ликом, воспроизводить черты мирового светила и непосредственно обращаться к нему за теплом и светом...

А у животного свет сосредоточен в глазу, с его необузданным и неистовым, а потому страшным сверканием.

Но у человека, существа мыслящего и созерцающего, свет глаза преодолевает свою животную неистовость и лучится одухотворенно в обращении к миру и молитвенно в обращении к Творцу.

И так повсюду: где огонь светит, там он требует ответа и наслаждается в этом ответном луче своим собственным светом...

Эта встреча двух огней – мирового и личного – осуществляется всего совершеннее в человеке. Ибо здесь огонь становится *пламенеющим духом*, и все его дары и способности проявляются в их высшей и превосходнейшей потенции. Ибо внешний, материальный огонь был вызван к жизни дуновением Божиим лишь в качестве живого прообраза самого Духа. И даже самый наивный, первобытный человек предчувствует, предвосхищает это высшее значение огня. Вот почему наши отдаленные предки, наивно-мудрые первочеловеки, молились земному огню, как живому символу Господа, поклонялись в нем чистому дыханию Творца, праздновали его явление, как начальное откровение Божие. Они поклонялись огню, а разумели Дух Божий. И это символическое поклонение столь же древне, как человеческий род; и продолжает жить в каждом из нас. Так и Гераклит греческий, пророк огня, света и разума, знал, что он говорил, когда воспевал в лице Огня божественную первостихию мира и когда утверждал, что Пламя есть Разум, а Разум есть Огонь...

Что случилось бы с нами, людьми, если бы мы лишились духовных даров этой родины? Чем были бы мы без жара в сердце, без огня в молитве, без озаряющей очевидности в познании, без пламенной интенсивности в воле и в делах, без повелевающей, вдохновенной силы в очах? Но не значит ли это, что все наше лучшее достояние – самое благородное, самое прекрасное, самое мощное, что в нас есть, – произошло от Огня?..

И мы, христиане, знаем этот великий религиозный символ; им живут наши мысли и чувства. Вот почему мы именуем Христа Спасителя «Светом истинным» (Ин 1:9) и крещаемся от Него «Духом Святым и огнем» (Мф 3:11; Лк 3:16). Мы называем себя «сынами Света» (Ин 12:36) и чаем Духа Святого в образе «языков огненных» (Деян 2:3). А когда мы читаем эти слова: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк 12:49) – то в сердца наши нисходят пламя и свет, и мы знаем, коего мы духа...

Но огонь в моем камине на исходе. Он гаснет и меркнет; и надо проститься с ним. «Иди на покой, благое и чистое пламя, и будь благословенно за все, за твой свет, за твое тепло и за твое утешение»...

22. У МОРЯ

Давно я уже мечтал выбраться из этого душного города. Давно я уже томился в этой давящей, оглушающей уличной жизни, в этом городском существовании, полном горя и грязи, где все напрягает, выматывает и на каждом шагу ранит сердце. Туда, туда, на вольный простор, где все пределы снимаются и где даль раскрывает свои блаженные пространства... Как я мечтал о море...

И наконец – это состоялось... Тогда, давно, первый раз в жизни, когда я приобщился этому счастью.

То, о чем я мог только мечтать, – встало предо мною, как живое видение. Далекий, уходящий, исчезающий простор; он так тихо раскрывается, так легко дается, так ласково зовет. Взор впивается в него, ищет его предела и не находит; и радостно предчувствует, что и там, дальше, где предел глазу – нет предела простору. Здесь нет границ, а ведь каждая граница есть запрет и разочарование... Здесь нет стен; а ведь каждая стена есть обида и угроза... О, как мы привыкли сидеть в клетках! Как мы связаны, подавлены, запуганы в нашей жизни! Как мало мы можем, как немного мы видим, как урезаны наши горизонты, как скудна наша жизнь! Сколь многого мы лишены – и даже не замечаем этого!

Но здесь... Здесь – праздник пространства, здесь царит Беспредельное, здесь дышит воздух, здесь живут бесконечные возможности. Я упиваюсь этим воздухом, я глотаю его. И сердце мое раскрывается, становится огромным и блаженным, и наслаждается потоком этой разрешающей, зовущей любви... Как если бы мир хотел сказать мне великое и благодное слово притяжения, прощения и примирения...

И только потом, насладившись простором, помню, я заметил внизу огромное, тихое, но подвижное поле воды. Спокойно, мощно катило море свои гребни – куда?.. темно-синее, задумчивое, погруженное в свои и в небесные мысли... Как будто – вялое, с виду – утомленное; и в то же время – играющее, легкое, не знающее тяжести, не ведающее труда. Огромная живая равнина. С виду – обильное, неисчислимо множество: на самом деле – единое, дышащее существо. Странное – и приветливое; такое многосложное – и такое простое. Само величие – в царственной тишине; сама стихия, излучающая кротость и благодать. Всем; *и мне, и для меня.* . За что же мне? О, незаслуженная благодать... О, неожиданная милость...

В сердце родится тихая грусть... Укор? Раскаяние? Почему мне всегда было «некогда»? Почему я впервые приобщаюсь к этому счастью? Боже мой, как скудна была доселе моя жизнь! Как много я упустил! Какое богатство я утратил!.. Я вижу, я понимаю: это благодное лоно могло прожить без меня еще целую вечность... И все же... Оно как будто бы ждало меня, готовило мне дары, оно согласно принять меня и осчастливить. И ныне прощает мне – и мое долгое отсутствие, и мой поздний приход... Мне будет все представлено, все открыто, все даровано – если только я открою ему мое сердце, и буду внимать и созерцать...

Какое странное чувство охватывает человека у самого края воды... Плещущая волна как будто хочет сказать: «досюда и ни шагу дальше» – и тем самым она пробуждает в душе потребность, настойчивое желание переступить этот предел и проникнуть дальше указанного... Она манит и дразнит – и не пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже приглашает; но только эта нежная влага слегка расступится, ласково охватит меня и вымочит... Кто робок от природы, тому надо беречься; тут уже не избежишь, не спасешься, сухим не выйдешь; краткий, плещущий набег – и кончено, попался... И сразу – робости как не бывало... Какое бережливое прикосновение, какая гостеприимная встреча, какое любовное обхождение. Упоительно и радостно... Успокаивает и возбуждает... Единственное в своем роде наслаждение. Но теперь предел перейден, дело сделано – и хочется перейти его еще раз и еще раз... проверить первое ощущение, повторить ласковый прием... И – отдаться этой дивной стихии: трогать ее, гладить; ласкать, будоражить, дразнить, разбрызгивать, плыть, нырять, глотать ее, исчезнуть в ней, – и наслаждаться ею. И все время испытывать ее жизнь и ее привет: воспринимать ее любовь и отдавать ей свою... Пока не наступит полное единение, совершенная близость: пока из блаженной игры не возникнет светлая дружба...

Одеваюсь и ложусь, утомленный, у самого берега в тени старой пинии и прислушиваюсь к голосу моря. Оно как будто хочет успокоить меня, погасить мое возбуждение, может быть, – усыпить меня, чтобы я отдохнул от непривычного счастья: от этой глубокой дали, которая раскрыла и подготовила мое сердце, и от этой ласковой игры, которая его наполнила и опьянила. Я закрываю глаза и предаюсь вниманию. Множество струящихся и лепечущих голосов шепчут мне о чем-то едином: сначала я слышу как будто тихие упреки, но они тают в дыхании ласкового прощения; потом я различаю нежные утешения: от них исчезает последняя тень грусти и исцеляется скорбь моего сердца, а потом идут надежды и обетования: они сходят из некоей древней, мирозабвенной глубины и повествуют мне о райской жизни и о ее дивной невинности...

Сердце наполняется сладостным, непонятным счастьем – легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хочется без конца внимать, только благодарить и ничего больше не желать. И каждый миг набегают тихий шорох волны: она булькает и ласково шепчет, как будто понимает меня и хранит мой покой; она пенится и замирает, словно ворожит

надо мной; нежно вскипает, шелестит и дышит на меня, будто хочет вызвать во мне несказуемые видения – и погрузить меня в блаженные сны, и уверить, удостоверить меня, что это не сны, а пророчества и обетования...

Я и доселе не знаю, что я тогда, убаюканный шепотом волн, спал или бодрствовал? или, может быть, я проснулся во сне к новой жизни? То, что было – исчезло, и никогда больше не появилось. Но я чувствовал, что вечное и благое лоно мира приняло меня в свою тихую любовь и раскрыло мне свои чистейшие пространства... Мне было позволено взглянуть в эти тайные недра бытия, коснуться тех мест, где мы все обитали некогда в доверчивой невинности, где нас и доселе ждет Божие прощение и Божия любовь... И с тех пор я ношу в сердце непоколебимую уверенность, что все страдания человека осмысленны и необходимы; что он должен *выстрадать себе свободный и целостный возврат к Богу*; и что всех нас ожидает любовное прощение, благостный покров, исцеление к невинности и мудрость блаженного созерцания...

Когда я пришел в себя, солнце заходило, исчезая в море, и я не знал, долго ли я был в отсутствии. Я лежал на берегу под пинией и все испытанное мною казалось сном. И только поток счастья владел всем моим существом. Это счастье было подобно свету, а свет испытывался как любовь, а любовь дарила исцеление и упоение. И я чувствовал, что приобщился некоей неизмеримой, неистощимой благодати, для которой землерожденные еще не нашли верных слов, а то, что я сам мог выразить в словах, казалось мне только преддверием святости, только папертью узренного мною храма...

Мое лицо было влажно. Не слезы ли это? Но тогда это слезы исцеленного, слезы счастья и благодарности... Или, может быть, это был привет моей новодревней первородины? Тогда я хотел бы сберечь его на всю жизнь и передать его другим людям, чтобы они испытали испытанную мною радость прощения и обновления.

И теперь, если меня посещает горе или овладевает мною тоска, и слезы появляются на глазах, то это уже другие, новые слезы, которые я не умею отличить от блаженной влаги моей первородины... Ибо я посетил некий божественный берег и знаю наверное, что для сердечной боли есть мера, а для любви и прощения – меры нет; и еще, что всякая боль и всякое горе есть только подготовка к блаженству, есть только первая ступень к просветлению духа...

23. О СТРАДАНИИ

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно или душевно, – вспомни сейчас же, что не ты один страдаешь, и что всякое страдание – всякое, без исключения – имеет некий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмотреться, и ты увидишь, что приобщен страданию вселенной. *Все* страдает и мучается – то в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдание про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить... Томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стаяя в самом наслаждении, влачаясь в борении, в грусти и тоске – живет вся земная тварь, начиная с ее первого беспомощного деяния – рождения из материнского лона и кончая последним земным деянием, таинственным уходом «на покой». Так страдает и человек вместе со всею остальной тварью – как член мирового организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать; в этом наша судьба, и с нею мы должны примириться. Естественно желать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учиться страдать *достойно и одухотворенно*. В этом великая тайна жизни; в этом – искусство земного бытия.

Наше страдание возникает из свойственного нам, людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого мы изменить не можем. Как только в нас просыпается самосознание, мы убеждаемся в нашей *самостоятельности и беспомощности*. Человек есть творение, призванное к «бытию о себе», к самодеятельности и самоподдержанию; и в то же время он служит всей природе как бы пассивным средством или «проходным

двором». С одной стороны, природа печется о нем, как о своем детище, растит его, строит, присутствует в нем, наслаждается им, как существом, единственным в своем роде, а с другой стороны, она населяет его такими противоположностями, она развертывает в нем такой хаос, она предается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни целесообразности, ни пощады. Так, я призван и предопределен к самостоятельному действию, но горе мне, если я уверю в свою полную самостоятельность и попробую предаться ей до конца... Я – свободный дух, но этот свободный дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимым природе и ограниченным всеми невозможностями естества... Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватывающая миры и разверзающая мне необъятные духовные горизонты, но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах своего единичного тела, она слабеет от голода, изнемогает в переутомлении и иссыкает при бессонице... Я обособлен от других людей, замкнут в своей душе и в своем теле и обречен вести одинокую жизнь, ибо никто никого не может ни впустить в себя, ни вместить в своих пределах; и в то же время другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, как если бы я был их игрушкой или рабом... Таков я; таковы мы все, каждый из нас в отдельности, – однодневные цветы, распустившиеся для страдания, мгновенные и беззащитные вспышки вселенского огня...

«Жизнь ваша, смертные, столь тленный дар богов:

Цветете миг один, живые исполины»...

(Илличевский)

Да и все ли «цветем»? Мы, вечные «пациенты» природы, покорные «приемники» мировых волн, чувствительнейшие органы сверх-природы... Что-то царственное и рабствующее; нечто от Бога и кое-что от червя (Державин). Так много. И так мало. Свободные – и связанные. Цель мира – и жертва вселенной. Порабощенные ангелы. Создания божественного художества, отданные бактериям в пищу и чающие могильного тлена...

Вот почему нас так часто и так легко настигает страдание; вот почему мы должны примириться с ним. Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух – тем более он обречен страданию, тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что *лучшие люди страдают больше всех*. . И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стона и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это «неожиданным», «незаслуженным» и «бесмысленным»...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сначала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчувствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие тревожит нас; мы пытаемся проверить наше ощущение – и постепенно, путями неопределимыми, в почти неподдающихся оформлению интуициях – мы убеждаемся в том, что нам действительно открылся *закон существования*, общий способ жизни, владеющий всею земной тварью, – что нет бытия без страдания, что всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает не только это: он знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще мучаем друг друга – то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей... И может быть именно Достоевский, этот мастер терзающегося сердца, был призван пролить свет на эту земную трагедию...

Такова жизнь, такова действительность... И могло ли бы это быть иначе?.. И были ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного?

Представим себе на миг иную, обратную картину мира. Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого страдания, до конца и навсегда; что некий могучий голос сказал ей: «Делай, тварь, все, что хочешь. Ты свободна от страдания. Отныне ты не будешь знать неудовлетворения. Никакая телесная боль не поразит тебя. Ни грусть, ни тоска, ни душевное раздвоение тебя не посетят. Духовная тревога не коснется твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всестороннему довольству. Иди и живи».

Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории человечества...

Вообразим, что человек потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему неудовлетворенностью: одновременно с голодом и жаждою, этими первичными источниками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство собою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Самый призрак возможных лишений, доселе ведший человека вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об опасности для здоровья и будившая его приспособляемость, изобретательность и любознательность, – отнята у него. Все противоестественности оказались огражденными и безнаказанными. Все уродства и мерзости жизни стали безразличными для нового человека. Исчезло моральное негодование, возникавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли навсегда тягостные укоры совести. Прекратилась навсегда духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому аскезу... Все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются – без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием – даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрчены, но скопились от воздержания...

Как описать те ужасные, оглушительные последствия, которые обрушились бы на человечество, обреченное на всестороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, отвратительная порода «человеко-образных», – порода безразборчивых наслажденцев, пребывающих на самом низком душевном уровне... Это были бы неунывающие лентяи; ничем не заинтересованные безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без подъема и без полета; ничего и никого не любящие – ибо любовь есть прежде всего чувство лишенности и голода. Это были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные тупицы, развратные Лемуры. Вообразите их недифференцированные, невыразительные лица, эти плоские, низкие лбы, эти мертвые, мелкодонные гляделки, вместо бывших глаз и очей, эти бессмысленно чмокающие рты... Слышите их нечленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной пресыщенности, этот невеселый смех идиотов? Страшно подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой порочности, об этом унижении ниче-го-не-выгесняющих полулюдей, которые прокляты Богом и обречены на то, чтобы не ведать страдания...

И когда представляешь себе эту картину, то видишь и чувствуешь, что дарует нам *дар страдания*; и хочется молить всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не лишали людей этого дара. Ибо без страдания – нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Какою глубиною светятся глаза страдающего человека! Как будто бы расступились стены, закрывавшие его дух и разошлись туманы, застилавшие его сокровенную личность... Как значительно, как тонко и благородно слагаются черты лица у долго и достойно страдавшего человека! Как элементарна, как непривлекательна улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого страдания! Какая воспитательная и очистительная сила присуща духовно осмысленному страданию! Ибо страдание *пробуждает дух человека*, ведет его, образует и оформляет, очищает и облагораживает... Духовная дифференциация, отбор лучшего и всяческое совершенствование были бы невозможны на земле без страдания. Из него родится вдохновение. В нем закаляется стойкость, мужество, самообладание и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен преодолеть страдание.

И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о страдании: мы обязаны ему *всем* – и творчески-великим и творчески-малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание есть как бы *соль жизни*; нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу. И более того: страдание есть *стремящая сила жизни*; главный источник человеческого творчества; тонкий и зоркий учитель меры; верный страж и мудрый советник; строгий призыв к облагорожению и совершенствованию; ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к ответственности и очищению жизни; он говорит о заблуждениях и соблазнах; он требует, чтобы люди опомнились и обратились; он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам блаженстве...

Страдающий человек вступает на путь очищения, самоосвобождения и возврата в родное лоно – знает он о том, или не знает. Его влечет в великое лоно гармонии; его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию, задуманному лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная, творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами «посещение Божие»... Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не «обреченным» и не «проклятым», но «взысканным», «посещенным» и «призванным»: ему *позволено страдать, дабы очиститься*. И все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается лишь судьба самого страдающего человека: достигнет ли он очищения и гармонии в *настоящей земной жизни*, или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика...

Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой: оно *выражает* это отпадение человека от природы, обозначая в то же время *начало* его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души: это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, он ищет «возвращения». Избавление уже началось, оно уже в ходу; и человек должен прислушиваться к этому таинственному процессу, приспособляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать: «Человек, помоги своему страданию, чтобы оно верно разрешило свою задачу. Ибо оно может прекратиться только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели»...

Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством и обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит – принять его как естественное и духовно-осмысленное явление. Ибо оно обращается к нам *из целесообразности самого мира*: то, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуетя своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит, по крайней мере, на одну треть, а иногда и на добрую половину из *страха перед страданием*.

Но не подобает делать человеку и обратное, т. е. нарочно или произвольно вызывать в себе страдание. Неправы те, которые мучают себя, занимаются самобичеванием или оскотпляют себя. Они неправы потому, что на них возлагается некая

претрудная внутренняя борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе; а они не хотят принять этой борьбы, перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесною болью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру; ошибочно и нелепо дышать на градусник, взгоняя ртуть кверху, или прикладывать к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение и творчество должны приходить *сами*, в силу естества тела, души и духа; возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды – противоестественны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять природе – искажающий ее произвол. Все хорошее и верное возникает как бы по собственному почину, естественно, гармонически, как говорил Аристотель, «Гоготои» («через себя самого»). Мы призваны творчески жить и творчески любить; спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающееся страдание; и – главное – творчески преображать и просветлять страдание, уже наступившее нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к преображению жизни, к просветлению души, оно есть путь, ведущий к совершенствованию, лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает в нас, с нами и о нас само Божественное начало. И в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления.

Вот почему страдающий человек не должен терять терпения или тем более отчаиваться. Наоборот, он должен *творчески* воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана *телесная боль*, то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее: это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стонающую тварь. Надо противопоставить плотской боли – духовную сосредоточенность и *внимать* не телесной муке, а духовным содержаниям. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути. Нет человека, который умел бы *все* и знал бы *все искусства*, а искусство одухотворять страдание есть одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь, но эта высшая мощь может быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверх чаяния сторицею.

Но если человеку послано *душевное страдание*, – а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, – то он должен прежде всего не бежать от него, а принять его, т. е. найти в жизни время и досуг для того, чтобы *предаться* ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть в глубь своей страдающей души, с молитвою в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собою во внутренних словах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться; надо не предаваться ее страхам и капризам, ее своеволию и ее тайным наслаждениям (ибо душевная мука всегда прикрывает собою большие наслаждения инстинкта); надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина; надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее приказом, уходом от нее и творческим напряжением; надо рассеивать ее туманы, ее обманы и наваждения и превращать ее силу в радость божественным содержаниям жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему сокровенный смысл душевного

страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим во чреве матери и чающим своего рождения; ибо страдание есть не проклятие, а благословение; в нем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений – некое богатство, борющееся за свое осуществление.

Если же человеком овладевает *духовное томление*, то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую *мировую скорбь* и тем возвело страдающего к Богу: ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении – скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть «благое иго» и «легкое бремя» (Мф 11:30).

Вот почему апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится» (Иак 5:13). Ибо молитва есть не что иное, как воздыхание духа к Богу, то «неизреченное воздыхание», которым «Сам Дух ходатайствует за нас»

(Рим 8:26). Молитва есть зов о помощи, направленный к Тому, Кто зовет меня к себе через мое страдание; она становится творческим началом творческого преобразования и просветления моего существа.

Но совершить все это никто не может «за меня» или «вместо меня», страдающего: все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображение. Другой человек может помочь мне советом; Господь не может не помочь мне дарованием сил и света. Но совершить мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно требует свободы и без свободы невозможно. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии земного страдания. И именно этим определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле.

24. О СМЕРТИ (письмо первое)

Дорогой мой. Ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии, и я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит надо всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение, и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своей смертью и *включить ее в свою жизнь*. Такие времена обычно называются «тяжкими» и «страшными», а в действительности, это времена духовного испытания и обновления – суровые, но благотворные времена Божьего посещения.

Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему.

Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности не удавшаяся ни природе, ни родителям – сделалась бы *бессмертной*, и меня охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина: самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, *а заполнить собою все времена*. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Бесконечный «огрех», вечный недотеп... Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать *всегда*... Или – несмываемое пятно земли и неба... Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы – в виде моей особы, и думаю: а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью и я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее – и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна – к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти... Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или

исправлена... А смерть придет как избавительница и целительница. Милостиво укроет меня своим покровом. Даст мне прощение и отпуск. Откроет мне новые, лучшие возможности. А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии.

И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни – *меру и форму*. Слава Богу, все мое земное страстное кипение, эта бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы, эта борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния, – все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божии времена... Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час и «отрешит вола от плуга на последней борозде»... (Пушкин). Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает *меру срока*, меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как это благостно... Моя жизнь приобретает *форму* – форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход и что мне надо к нему готовиться. И вот главное: мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а *завершением* всей моей жизни; все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это – благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно: меряя человеческой мерой, надо признать, что срок не слишком далек и что мне нельзя терять времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира – природы, человеческого общения и культуры – все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания – все это неисчерпаемо, ответственно, претрудно и обязывающе...

Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим *началом жизни*, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: «Знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям – в любви, в служении, в созерцании и созидании – нет числа; не лучше ли оставить без внимания все пошрое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?..»

Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, *жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать*, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать – что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми *не стоит жить* или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих различений и познаний – верный масштаб, истинный критерий.

Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное: когда близится смерть или когда, по крайней мере, тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе, переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся – вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго; и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и

тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается; второе оправдывается и подлинно освящается. И не то, чтобы мы сами это производили; нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием.

Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посланец, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь пронесется перед нами духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить – все утверждается как подлинная реальность, все возносится в сиянии; а все, что было мелко, ложно и пошло, – все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость, и судит себя как растратчика сил и глупого мота. Зато – как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении; и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитой «начерно» и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже «набело». Мгновенно рождаются планы новой, чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей...

А когда опасность смерти пронесется и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провееяна, и делает один из значительнейших выводов в своей жизни: *не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь*. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, – все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жизнь стоит только тем, за что стоит бороться на смерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судия.

Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благодатна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная «мера всех вещей» или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узоре-шительница или как великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде всего *в самой жизни и для самой жизни*. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть *воспитывает* в нас этот *вкус к жизни*, сосредоточивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать из всего одно прекрасное, жить Божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: «опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза – зрячими и дальнотзорными. А ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от *телесной* индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака?

Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность – могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все время пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостижимую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую-то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас

бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. *Жизнь не менее таинственна, чем смерть*; только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и *величественный акт личной жизни*. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый.

25. О БЕССМЕРТИИ (письмо второе)

Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености.

Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности, кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту «возможность» я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать такими понятиями, как «смертность живого духа». Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек и в особенности каждый ученый исследователь должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в «последовательную», но мертвую схоластику. *Нереальные возможности суть невозможности*, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить *о реальных возможностях*, тот обязан находить соответствующие *реальности* и держаться за них.

Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен *духовного опыта*, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из *чувственного опыта естествознания*, рассудочно переработанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом «ничего не сказано» или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и *настоящих духовных реальностей* и судят о том, что от них скрыто.

Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить *о них – из них*. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а «доказательство» станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя слабое ощущение духа, как бы «горчиное зерно» этого опыта, или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему наверно можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания.

При всем этом я имею в виду *живой опыт нашего* не материального, не телесного и притом именно *духовного бытия*.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое «здешнее». Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за

бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.

Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только *я сам*, только *я один* могу сделать это и притом через мой *собственный, внутренний опыт*. В этом опыте я должен пережить и увидеть *мое собственное духовное естество* и добыть себе *очевидность моего духовного бессмертия*. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен; уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстоятельств верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, т. е. приобрести его, или (еще точнее) *творчески создать* его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколько бы живые свидетели ни рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы *узреть сверхземное*, надо реализовать и оформить в себе *сверхземной способ жизни*, из которого потом и возникнет *сверхземной язык*... . И все это – в пределах земной жизни.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше «главное», за наше настоящее существо, а оно есть только Бого-данная «дверь», вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотой. И когда мы видим, что эта «дверь» отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет «безгласною, бездыханною» перс-тию, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец...

Мы не можем и не должны презирать или тем более «отвергать» наше тело: ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты: оно открывает нам все чудеса Бого-созданной твари, всю значительность, и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем; и, пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть *таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией*, живой и художественный *символ Его мудрости*, так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живую часть, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ... Но еще лучше, что он открывается нам *на время* и потом будет *отнят и закрыт*: ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.

Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании.

Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предметный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое *нетелесное бытие* и утверждаем его как *главное и существенное*. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии *духовных законов и предметов*. И первое, что нам при этом открывается, это *наша собственная духовная личность*.

Мое духовное «Я» открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есть *творческая энергия*, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание

владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его «мерюю всех вещей». Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерилы. У нее совершенно иные *формы*, иные *законы жизни*, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи: это *формы – духовной самостоятельности свободы*, это *законы – духовного достоинства и ответственности*, это *пути – духовного очищения и самосовершенствования*, это *состояние бессмертия и богосыновства*. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно *искра Божия*; и человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру, как свою подлинную и собственную сущность; человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он сам станет Божией искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в *несгорающую купину духа*.

Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается двойственным и распадающимся, так что Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями и не-обходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к *единству* и призван быть живою и творческою *целокупностью*. Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в *Божие огнилице*, в некий *земной маяк Всевышнего*. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия... И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого *художества Божия в человеческой душе*, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным».

И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, это художественное создание Его Духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии – имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти... И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения *земной материи* и *физической энергии*: это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет... Дух – эта свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие... Какая жалкая попытка перенести самую брнную мысль земного мира – мысль о смерти – в сферу нетленных и непреходящих обстоятельств духа...

Есть великий Художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих *необходимостях* и который донныне продолжает создавать мир человеческих духов, во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы – Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. *И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение*. Правда, человеку лишь редко удастся предоставить свою свободу целиком – Божьему пламени; лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием

Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени; всю свою жизнь он

зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.

Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание – хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки – какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания – от прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и изучением – или же прямою молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине, великие и неоплатные дары...

И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами: что мне было предоставлено жить и созреть к смерти...

А потом я буду отозван, так, как если бы я созрел для этого отозвания, и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству – чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно-интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно-ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца – все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда, все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности: это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить ликуя все чудеса Божьего богатства, которые уже открывались мне или еще не открывались мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни.

Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю, – в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неуместно Богу и в творении Его неуместно...

Так я понимаю бессмертие человеческого духа.

V. У ВРАТ

26. О БОЖИЕЙ ТКАНИ

Вчера зашел ко мне мой сосед – душу облегчить. Он посидел у меня с полчаса, долго раскуривал свою прокуренную трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него лежало на сердце.

«Мой отец, знаете, был очень добрый человек. Он давно уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло и светло делается. Он был, понимаете, портной; хороший портной, мастер своего дела; так умел построить костюм, что просто загляденье. К нему из соседних городов франты приезжали и всегда бывали очень довольны: так – посмотришь, будто нет ничего особенного, а приглядишься – ну просто художество. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то грустное напевает, а потом вдруг скажет:

„Нехорошо вчера соседи Митревну избидели, зря, все виноваты перед ней“; или „Петру-то Сергеевичу в праздник надеть нечего, надо бы ему справиться“... И опять шьет.

Бывало разволнуется и начнет мне о «ткани» рассказывать; а он никогда не говорил «матерьял» или «сукно», а всегда «ткань». «Присмотрись, – говорит, – Николаша к людям. Ведь мы все одна ткань. Вот, гляди, каждая нитка к другой приникла и держит ее; все сплелись друг с другом, все вместе к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, сплеховала, истончилась или порвалась, так весь кусок выходит в брак. Ни один хороший мастер такую большую ткань не возьмет, ни один заказчик и смотреть на нее не станет. Так и гляди, выбирая, чтобы не промахнуться, чтобы больной ткани и в заводе у меня не было.

Вот и с людьми так же. Мир от Господа так устроен, что мы все – одна сплошная ткань. Все друг к другу приникли, все друг друга держим и друг другом держимся. Если одному плохо, то всем нехорошо, а люди этого не понимают: глупы, близоруки. Думают – «что мне до него, когда мне самому хорошо»... А на самом-то деле не так. Если одному, которому-нибудь плохо, то он мучается и болеет; и его мука от него во все стороны распространяется. Ходит угрюмый и других угрюмит. От его беспокойства всем неуютно. От его страха у всех раздражение делается. Люди друг к другу злым местом повертываются: не доверяют, подозревают, обижают, ссорятся. И все чувствуют, что это *от него* идет и на него за это раздражаются. И он это чувствует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нужна, а они к нему с раздражением. И никто не видит его муку, а видят только его угрюмость, жестокость, сварливость; и не любят его... И вот уже разрыв, порвалась ткань, врозь идет, расплзается. Надо скорей чинить дыру; а никто за это не берется: «Мне, – говорят, – какое дело? его беда, он и чини». А разрыв все растет, и ткань испорчена. А чинить можно только любовью: твоя беда – моя беда, моя беда – общая»...

А еще отец так говаривал: «Ведь это и в хозяйстве так. Бедный человек не одному себе беден, а всем. Нищий человек не у себя просит, а других тревожит, о муке своей говорит, язву свою обнажает. Где беда, там *общая* беда; где голод, там всем хлеб горек. Безработный не один скитается, мы все им заболели. Все равно, как зуб заболит; заболит – и весь человек в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяница – он свою беду во все стороны излучает, всех задевает, всех бременит. И опять вся ткань испорчена; и надо как можно скорее чинить, помогать, дыру заделывать. Где *ты* не можешь, я за тебя смогу; где *оба* не сможем, *другие* вывезут».

Сердечнейший человек, знаете, был отец. И помогал всем, везде, где только мог. «Я, – говорил, – починкою был занят», «дырку заштопал». И так, бывало, делал: собирает отрезки от всех сукон и костюмов, иной раз прямо выпросит остаточек у заказчика, и подбирает; вертит, ликует, составляет, подгоняет; очень ловок... И потом шить начнет. И уж тогда веселые песни поет. Глядишь – жилет построил; или брюки. А иногда и целый костюм подберет; завернет аккуратно в платок и снесет бедняку. И тому запретит рассказывать: этого, говорит, никому не надо знать; молчи и все. И только мы в семье понимали, что происходит. А уж любили его, как редко кого. И за советом приходили, и просто поплакать.

Нет, знаете, разбогатеть он не хотел; ни к чему это, говорил. Сами прокормитесь. Ка-кое наследство... Вот, что о ткани говорил, это наследие. А как почуял смерть, позвал меня и сказал: «Ухожу, Николаша. Не грусти. Все мы – нити в ткани Божией; и пока живем на земле, дано нам эту ткань беречь и крепить. Помнишь ты, был хитон у Спасителя, несшитый, цельный, весь тканый сверху до низу. Вот этот хитон нам помнить надо. Все мы – нити его и по смерти призваны вращаться в него. Помни о нем. Это ткань Божия. Береги ее в земной жизни: каждую нитку крепи, от сердца ревнуй. Сердце больше всего слушай. О чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо»...

«Вот и кажется мне, знаете, что он прав был. Все мы – одна ткань. И в этом, чувствуется мне, мудрость жизни сокрыта»...

27. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО

Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми.

Вокруг была пустота и не было любви: далекий город, чужие люди, черствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на свое одиночество и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если только цветок распухнет как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живет с другими, он живет в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что ведь это только *пол-счастья*, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, тот не спрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать: а что мне принесет моя любовь? а ждет ли меня взаимность? а может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви еще нету (не родилась), или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и несчастный...

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить – это не *пол-счастья*, а *целое счастье*. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи ее светятся и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, преднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как *незаслуженное земное блаженство*, в котором твое сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь – наш садовник, а наши сердца – цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.

Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всеобщей. О, незаслуженное земное блаженство!

28. ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Вчера у меня был потерянный день. Это случилось как-то само собою, но вечером я почувствовал всем своим существом, что день этот для меня погиб.

Как только я проснулся, мною овладели заботы: выдвинулись всевозможные жизненные затруднения, осложнения и прямые опасности, целое змеиное гнездо. Напрасно я пытался отделаться от него презрением или юмором; напрасно корил себя за робость и пессимизм; напрасно искал спокойствия в молитве. Как будто давящий туман надвинулся на мою душу; узлы не распутывались, надежды гасли. Воображение рисовало надвигающиеся беды и унижения: когда жизнью овладевают черствые фанатики, духовные идиоты, то надо готовиться ко всему. Горечь и отвращение овладели мною. Сердце судорожно сжалось и ожесточилось. Надо было бороться. И так начался этот погибший день.

Нужно было собрать все силы и проламывать стены – одну за другою. Надо было найти спокойствие в самой тревоге, сосредоточиться, все взвесить, выработать план и с достоинством встретить опасность. Надо было перейти в наступление: идти от человека к человеку, будить друзей, уговаривать жестоковых, заклинять врагов. Надо было доказывать бесспорное, дробить камни, плавить железо... Есть же на свете счастливые люди, которые и не подозревают, во что превращается жизнь под управлением бессердечных доктринеров, какую ложь, какую мертвость, какое опустошение и какую грязь они несут людям и что приходится переживать из-за них...

Вечером, когда я вернулся домой и все узлы оказались каким-то чудом распутанными, – я чувствовал себя смертельно усталым. Все удалось, успех превышал всякие надежды, но день был потерян.

Он был потерян, потому что сердце мое пребывало в судорожном ожесточении, а оно ожесточилось от того, что я видел вокруг себя ожесточенный мир и не заметил, как он меня заразил и отравил. Когда сердце ожесточается, то оно уже не способно к любви: оно не поет и не светит; оскорбленное и онемевшее, оно погружается в темное молчание; в нем нет ни ласки, ни улыбки; и к молитве оно уже неспособно. Оно каменеет. А когда сердце окаменело, то человек не может быть орудием Божиим; и день оказывается погибшим.

Это был погибший день, потому что я думал только о себе и хлопотал только за себя. Надо же было спастись как-нибудь из этого жизненного тупика... И все-таки... О, этот страх за свою шкуру, как будто она так необходима и драгоценна. Жизнь становится вращением вокруг себя самого, как если бы ни на земле, ни в небе не было ничего лучшего, высшего... Человек слепнет и глохнет для всего остального страдающего мира; и живая ткань Божия, ради которой только и стоит жить на земле, как бы перестает существовать для него. И день проносится в душе, мертвый и пошлый; и уходит в прошедшее, как нерасцветший цветок.

Этот день пропал для меня, потому что я боролся с людьми, я старался подчинить себе их волю, использовать их как свое орудие, и не было во мне живой любви к ним – ни

к одному. Я подходил к ним осторожно и ловко, я уговаривал и доказывал, я внушал им необходимое; но сам я оставался сухим и деловитым и только пристально и зорко рассматривал их, как каменщик рассматривает свое неуклюжее кирпичи. Мало того. Они все время были противны мне, эти жестокие, самодовольные, заносчивые выскочки; и отвращение царило в моей встревоженной душе. И отвращение это надо было скрывать; и лицемерить, и лгать, ненавидя... Куда мне девать теперь это бремя? Как мне смягчить и разбудить мое сердце? Проснется ли оно опять к любви?.. Уходи же, уходи, пропащий день, чтобы можно было забыть тебя и исцелиться.

Да, день был пропащий, потому что все прекрасное и нежное на свете не существовало для меня. Птички не пели мне. Цветы не радовали мою душу и не благоухали мне. Я не видел ни одной детской улыбки. Я совсем не мечтал о красоте. Холодный ветер проносился надо мною, как над уличным фонарем. Я даже не помню, было ли вчера солнце на небе. И самое внутреннее пение мое, вечно поющее во мне о далях и глубинах, смолкло, и ручей его иссяк. Мир как нежная тайна, мир как живой гимн, мир как чудо Божие – не существовал для меня. Нет, это была не жизнь; я не жил в этот день...

Он погиб для меня, потому что я не нашел ни одной нити, ведущей к Царству Божьему, и взор мой ни разу не коснулся его дивной, сияющей ткани. В такие дни жизнь лишается смысла и святости, как бы ни везло человеку и как бы удачны ни были его земные дела. Ибо человек строит свою жизнь не делами, а деяниями; он дышит сверхчеловеческими веяниями; он живет близкими лучами, приходящими из священной дали; он живет дыханием Божиим...

Прощай же, пропащий день. Угасай в забвении. Один-единственный дар останется мне от тебя: что я увидел твою пустоту и понял, что потерял тебя в жизни.

29. О ТЕРПЕНИИ

У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он «больше не может»: «жизнь так тягостна, так унижительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя»... Но время идет; оно приносит нам новые тягости и новые опасности – и мы выносим их; мы справляемся с ними, не примирясь, и сами не знаем потом, *как* мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия «невозможности» рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно: наш взор близорук, и поле нашего зрения невелико: мы сами не обзреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется; что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем; дивная способность, которую мы не укрепляем; великая сила личной и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура... Я понимаю – *духовное терпение*.

Что случилось бы с нами, людьми, и прежде всего и больше всего – с нами, *русскими* людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет и сам собою встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастьями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и унижениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность – его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла... И если мы, поздние потомки великих русских «стоятелей» и «терпеливцев», утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать...

Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет» – силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать «отказы» жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую «изнанку» земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное,

неудобное, отвратительное или страшное; мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу; напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага.

Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата... Как томительны первые лишения... И первая боль нам кажется «незаслуженной», и первое наказание – чрезмерно суровым... Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества... Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе *жизненного стратега*: спокойно предвидеть наступление «неприятеля» и твердо встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями *все новую и новую силу духа*. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека, так что он станет слабее самого себя, то несчастье является *школой терпения* и научает человека быть сильнее себя самого.

Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдание «с поднятым забралом». Это не легко; этому надо учиться и научиться. Это удастся далеко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни; а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений; его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям; он «сластолюбив» от природы и сам не замечает, как вожделения и страсти овладевают его душою. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе: утеха нужна всякой твари, человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни *не зависели от внешних обстоятельств*; чтобы радость наша имела внутренние источники; чтобы мы умели видеть свет и там, где по-видимому непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силою воли; отчасти утешен новыми, иными радостями; он может быть подвергнут молитвенному заклинанию; во всяком случае – утихомирен.

Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании; искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к Божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее *находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им*. Во всякой траве есть цветы; во всяком облаке есть красота; во всяком человеке есть своя глубина; о вечной тайне молчит природа; об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение и радость ждут нас повсюду; нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором.

Иногда с человеком надо обходиться как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо подарить ему новую красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений – и радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, то надо научить его пускать мыльные пузыри: пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества... Надо упражняться в терпении; надо ввести в жизнь состязание в терпеливости; надо научиться *терпеть легко*. И пусть каждый из

наших детей испытывает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения.

И что бы ни пришлось человеку переносить – грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, – он не должен пугаться спозаранку, ибо застрашенная душа теряет власть над собой. Страх возникает от воображения опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его в воображении; кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застрашивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем.

Терпение есть своего рода *доверие к себе и к своим силам*. Оно есть *душевная неустрашимость*, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу: «пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит»... Мы не должны бояться *за* свое терпение и пугать его этим; а малодушное словечко: «я не выдержу» – совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое...

А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своею силою, тогда важнее всего *не сомневаться в нем и в его выдержке*. Лучше всего не думать вовсе – ни о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «ах, я *так* страдаю», или: «я не могу больше» – и сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу: он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость: нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все, от мелкого, унижительного компромисса, до последней низости: дело его кончено и сам он погиб...

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу... Или, еще лучше: надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть, и свое унижение в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его Силы и утешения от Утешителя... Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдание осмыслит-ся и душа почувствует снова *благодатную готовность терпеть* до конца и до победы.

Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути: *юмор* – в обращении к себе и *молитва* – в обращении к Богу.

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она должна проснуться в тварном самосознании – и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью – и вся душа человека объединится и укрепитя для победы.

Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к Тому, Кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве; оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наши заблуждения; и нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя, как <бы> напившийся из

божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа.

Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, т. е. добиться того, *чтобы наш дух перестал зависеть от него*; мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания – мудрости естественной и мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви; оно должно осветить нам по-новому смысл жизни.

Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «тупая покорность», как думают иные люди; напротив – оно есть *напряженная активность духа*. И чем больше оно прикрепляется к *смыслу* побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать; оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе; более того – оно есть *сама победа*, одоление слабости, лишения и страдания, победа над деятельностью, над сроками, над временем: победа человека над своею тварностью и над всякими «жизненными обстоятельствами». Терпение есть поистине «лестница совершенства»...

И кто присмотрится к человеческой истории – сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, – тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества; оно ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть *орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни*; и потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры... Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание и прощение; труд, мужество и работа исследователя...

Терпеливо делает гусеница свое дело – и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо почерпая свою силу из *сверхчеловеческого источника*, он сумеет нести *нечеловеческие* бремена и создавать на земле великое и чудесное.

30. О СОВЕСТИ

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды в студёный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем, – сказал он ему, поднимая его на ноги, – в моей стране найдется и для тебя любящее сердце»...

Так проявляется совесть в человеческой душе – часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни осуждения, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок.

В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало – какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее «своею» и не включал ее в «себя». Хочется сказать: «я не знаю, откуда она взялась, но *совсем чужою* или *постороннею* мне я ее не ощущаю». Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою *возможностью* и вдруг оказалась *необходимостью*. Она воспринималась как дальний зов, и вдруг обнаружилась как ветер и буря... Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток... Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг

пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая «мечта» о земном совершенстве, и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой...

В душе внезапно отпали все «трезвые» соображения и «умные» расчеты; стихли все большие страсти и мелкие пристрастия; и даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал; да я и не считал себя способным к нему... Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным... Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой – лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее?.. Но откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам?..

Я знаю одно, и знаю твердо: *тогда я иначе не мог*. Было что-то высшее и сильнейшее, что *заставило* меня поступить так. На меня как будто бы что-то «нашло», «захватило» меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка – у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, – *и не должен был, и не смел* действовать иначе. *Я не мог тогда иначе хотеть*; а теперь скажу: мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. *Так* и надо было. Это было *лучшее*, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то *тихим, спокойным блаженством*. Одного только мне бы хотелось – чтобы *он*, этот «лучший» и «большой», явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость...

Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной судьбы – не связывают его больше; все это отходит, хотя бы временно, на задний план. Человек перестает быть «личным» и вдруг становится «предметным» в лучшем и священном смысле этого слова. Это *не* значит, что он утрачивает свою «личность» и делается «безличным». Нет, совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-жадное, лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое место *дыханию высшей жизни*, побуждениям и содержаниям Царства Божия, объективной реальности, – тому, что можно обозначить строгим словом «Субстанциальности» или целомудренным словом «Предметности». Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного Дела, т. е. Божьего Дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своекорыстия; или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья «отвалились» у него и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности... Но он уже никогда не забудет то чувство *блаженной силы и свободы*, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира; но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему.

Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть: это расхождение между нашими *лично-эгоистическими побуждениями* и нашим *божественным призванием*, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение – окончательно и всецело отдаться Божьему Делу – *всегда* живет в глубине нашего сердца. Это влечение духа требует от нас всегда одного и того же: *самого лучшего*. И если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения...

Но в действительности жизнь идет иначе: мы слышим этот голос и не слушаемся его; а когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не

дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше «повиновение» совести как опасное жизненное «предприятие» или даже «приключение», как неблагоприятную мечтательную затею, или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, след., как тягостное бремя жизни... Если же мы *не* повинемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом *лучшая* его часть, остается приверженной ему; но внутреннее раздвоение продолжается... Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, – поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение: тогда человек отводит ему место в глубоком подzemелии своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему; но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных *угрызений*, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя...

...А между тем истинное *ис-целение*, обещающее *цельность* души, нуждается всего-навсего в моем согласии: только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я *должен* делать, но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а *светлая радость жизни*. Потому что я буду делать тогда то, что желает *моя собственная воля*; и то, чего она желает, будет *лучшим*, и притом *на самом деле* лучшим. И это лучшее станет для меня *внутренней необходимостью, единственной возможностью* и осуществленным делом. Иначе я не могу; и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом – мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что «это мой долг», а потому, что есть «объективно лучшее», к чему зовет меня мой *дух (совесть)* и к чему прилепляется *любовью* и мой *инстинкт*. Так возникает *совестная цельность человеческой души*.

Пока я еще не знал, что такое «совесть», и не переживал *силу и счастье совестного акта*, я спрашивал в холодном сомнении: «да разве это вообще возможно? разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения?»... Но если я испытал совестный акт, хотя бы единожды, – обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают; нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен потому, что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать *воззвать к совести по собственной инициативе*? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову... Все это в моей власти, все это будет происходить в моем внутреннем мире... Мне нужно только знать, *как это лучше сделать*, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман...

Прежде всего надо отложить всякое *теоретическое умствование*, ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести *не есть акт словооблеченного мышления*; он не теория, не доктрина, не «максима», не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать; не надо размышлять и изобретать. Не надо стремиться к какому-то «всеобщему законодательству». Не надо *ничего предвосхищать*. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка.

Не следует также спрашивать о том, что было бы *«полезнее»* всего или *«целесообразнее»* всего; эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о «приятном», «удобном», «выгодном», «умном» и т. п.; все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать *лучшего, нравственно-лучшего*, и притом не «лучшего по-моему», а *«лучшего*

на самом деле». Верующий христианин спросит о «христиански-лучшем», о «совершенном перед лицом Христа Спасителя».

И еще одно: этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы *узнать*, познать истину, формулировать ее и доказать; это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен *практически*, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически-жизненный случай *индивидуален, единствен в своем роде*, то надо искать не *общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае*.

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, «условий», уклонений и «резерваций», я встану, таким, каков я есмь, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, «сейчас» и «здесь» – внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца; я спрошу: как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански-лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос – и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается и... королевская мантия ложится на плечи нищего...

Королевская мантия?.. Да, ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному мятежью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым; и склонился ко мне, облекая меня своею Ризою, как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.

31. [ЧТО ЕСТЬ] ОПТИМИЗМ[?]

Вот что необходимо современному человеку, – как воздух, как вода и огонь – это здоровый, творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, творческие идеи; мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль; мы должны хотеть верного и притом желать сильную волю; и в довершение всего – мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же время в великой, творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении.

И для этого нам необходим *духовно-верный оптимизм*.

Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть «в хорошем настроении»; мало «не предвидеть ничего дурного». Легкомысленный весельчак всегда «в хорошем настроении», а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей; самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к «спокойствию» во что бы то ни стало: оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья; он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях: ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение, и оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом.

Итак, есть *ложный оптимизм* и *духовно-верный оптимизм*.

Ложный «оптимист» хранит хорошее расположение духа потому, что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его «оптимизм» не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он «оптимист» только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его «оптимизм» касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть даже и ничего; а если он в самом деле что-нибудь *видит*, то он *видит* смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и

легкомыслен; он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божиих. И потому его «оптимизм» – физиологически объясним и душевно мотивирован, но *предметно и метафизически не обоснован*; и ответственности за него он не принимает. Его «оптимизм» есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости; он может привести к сущим нелепостям; и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика...

Совсем иначе обстоит в душе *настоящего оптимиста*. Прежде всего, его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всею его жестокостью и порочностью: ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду *духовную проблематику человечества*, судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется *самим Богом* и что поэтому она разворачивается, как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма: он знает, что *мир пребывает в Руке Божией*, и старается верно постигнуть творческую деятельность этой Руки; и не только – понять ее, но добровольно поставить себя, в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой высокой и благостной Руки («да будет воля Твоя»). Он желает «содействовать» Божьему делу и плану, он стремится служить и вести, внимать и совершать: он желает того, что соответствует воле Божией, Его замыслу, Его идее... Он видит, что в мире слагается и растет некая Божия ткань, *живая ткань Царствия Божия*; он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что и ему удастся войти в нее живую нитью.

Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему Делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство потому, что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы *верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение*.

Узнав свое место в замысле Божиим и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание – исполнить свой «оптимизм»; и если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое Дело. Он расценивает себя как нить в Божией Руке; он знает, что эта нить вплетается в Божию ткань мира, и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно «наступает на Аспида и на Василиска», «на змия и скорпия» – и остается невредимым; и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла...

Это означает, что настоящий оптимист никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более, чем одна из земных нитей в Руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимист совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий; где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, – там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддаваясь страху и не преувеличивая опасность; и чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуются от него. Он – *волевой человек*, знающий о своей ведомости и хранимости, *преданный тому Делу*, которому он служит, и питающий струю своей жизненной воли из Божественного источника.

Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть *дар силы* или *искусство самоусиления*, живая бесконечность усилий – столь давно и безнадежно искомое «духовное *perpetuum mobile*»...

Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божи-ем и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего Дела, хотя бы эта победа казалась временами «его личным поражением», ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни – к Богу.

И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение.

32. ОБ ИСКРЕННОСТИ

Пока человек живет на земле, он остается одиноким; и ему не предоставлена свобода вырваться из этого одиночества или устранить его совсем. Основной *способ бытия*, присущий человеку, остается вечно тем же и не меняется на протяжении тысячелетий; и если бы он по существу своему изменился, то человек перестал бы быть собою, а стал бы каким-то «сверх-человеком» или «не-до-человеком», о котором мы ныне не имеем ни малейшего представления.

Каждый из нас есть единичная, замкнутая в себе душа, скрытая за единичным и единственным в своем роде индивидуальным телом, с которым она таинственным образом связана, которое ее обслуживает и выражает ее состояния. Именно этот способ бытия обеспечивает каждому из нас все *бремя* и все *благодатные преимущества* одинокой жизни.

Одинокость^[16] есть *бремя* потому, что было бы гораздо легче затеряться в слитном и несамостоятельном бытии людей, утонуть во всесмешении, нежели утверждать свою *самобытность и самостоятельность*, и притом – на надлежащей высоте, т. е. самому идти через жизнь, проходя *ответственный, сердечно-искренний и творческий* путь. Но одинокость имеет также свои великие и благодатные *преимущества*, потому что она есть живая основа и необходимая предпосылка *свободы духовности, личного очищения и просветления*.

Как ужасна была бы жизнь, если бы у человека не было внутренней отрешенности, если бы у него не было возможности уйти в свое огражденное и целомудренное одиночество, чтобы сосредоточиваться в себе, находить себя, работать над своим очищением и самосовершенствованием... Тогда человек был бы подобен дому с прозрачными стенами, в котором снаружи все всегда всем видно; или проходному жилищу, доступ в которое всегда и отовсюду открыт всякому гаду, зверю и злодею: в жизни его не было бы ничего прикро-венного, огражденного, неприкосновенного и священного... Вечный сквозняк. Вечный проход и пролом. Уличный тротуар, открытый для всяческого злоупотребления. Безличное и бесформенное смешение. Вечно попанная святыня...

Как это чудесно, как это премудро устроено, что мы, благодаря нашему человечески-земному способу бытия, защищены от взаимного вторжения, опошления и надругательства. Какое благотворное, прямо благодатное значение имеет в этом наша земная «оболочка», наше тело: оно ограждает непроницаемостью нашей души, оно обороняет самоопределение нашего духа, оно блюдет тайну личного обращения к Богу и приближения к Нему. Человек устроен «от природы» так, что он может оставаться *с Богом наедине*; и он был создан таким именно для того, чтобы Господь мог быть *наедине с ним*. Человек есть *личный творческий центр*: в нем самом заложена та прочная граница, тот предел, о который сокрушится всякая произвольная коллективизация, противоестественная и противорелигиозная...

Но человеку даны одинокость и самостоятельность совсем не для того, чтобы изолировать его от его ближних или чтобы сделать из него хитроумного интригана, всесветного обманщика... Самостояние и самобытность человека – его, скажем, «самоосновность», – совсем не означают отказ от общения, от совместности и любви. Духовная «аутаркия» (самосильность) совсем не должна вести к заносчивости или гордыне.

Отрешенность дана человеку для того, чтобы он мог свободно обратиться к Богу, очиститься и укрепиться в Его Духе и вступить в общение с людьми *в качестве свободного, но уже укорененного в Боге сына Любви*. Ин-диви-дуальность дается человеку как способность свободного Бо-госозерцания, как возможность стать духом, вести духовную жизнь и творить духовную культуру. В этом *цель* его жизни; это есть то, что он призван создать и развить в себе.

Человек есть мир в малом масштабе («микрокосм»), который должен осуществить в себе и про себя одухотворение, очищение и устроение (т. е. воспитать в себе духовный характер), с тем чтобы вслед за тем включиться и творчески вложиться в мир великого масштаба (в «макркосм»). Самостоятельность человека не есть право на произвол и на безобразия. Свободу нельзя понимать как свободу *от* духа, *от* совести и от всякой веры. Напротив: великая симфония мира требует от каждого из нас, чтобы он укрепил и развил в себе свой самостоятельный голос и присоединил его свободное, личное пение, в верной гармонии, к общему хоровому пению, осуществляя предустановленный Богом мировой ритм.

И вот *одиночество* человека есть высокое и нелегкое искусство, а *искренность* – есть его лучшее проявление.

Чтобы быть искренним, человек должен внутренне найти себя и иметь достаточно мужества оставаться самим собою. Найти себя значит увидеть сердцем свою святыню, прилипнуть к ней и подчинить ей свою жизнь. Пока человек не совершил этого, он колеблется между различными возможностями, зовущими его, претендующими на него или соблазняющими его; ни одна из них не имеет безусловного преимущества перед другими, ни одна из них не окончательна, и он может предаваться им и разыгрывать их по очереди. Его сердце не принадлежит «ничему»; поэтому оно может в любую минуту измениться и изменить, начать «чувствовать» по-иному и предать всякое дело. Его дух есть как бы «ничья вещь» («res nullius»), и потому он будет принадлежать «первому захватчику» («primo occupanti»), как говорят римские юристы. Такой человек ни к чему не относится серьезно и благоговейно. Ни одна жизненная возможность не есть для него «единственная», т. е. главная и необходимая. Он даже не может понять, что в жизни бывает *необходимо* быть «таким» и *только* «таким», и действовать «так» и *только* «так»...

Человек становится *искренним* тогда, когда он имеет в своей душе некое *священное средоточие*, к которому он относится с серьезным и целостным благоговением; когда он в своем жизненном выборе и делании «иначе» *не может и не хочет*. Тогда он стоит твердо. Тогда он имеет как бы крепкий якорь, или живой и могучий корень. Тогда он и *не может* иначе *хотеть* и не хотел бы мочь иначе. И тогда ему нужно еще только *мужество*, чтобы блюсти верность своей святыне и делать из этого все жизненные выводы.

Чтобы быть искренним, человек должен стать *внутренне единым*. Пока его дух живет в разделении или разорванности, он не искренно любит, думает, говорит и поступает. Ибо в нем идет «гражданская война» с самим собою; он преследует одновременно различные цели и служит одновременно различным ценностям («богам»); в нем имеется несколько соперничающих между собою жизненных «центров» – и он предает их один за другим. Все в нем двусмысленно и неверно; его любовь не сильна и стоит мало; его мышление условно и относительно, он блуждает, сомневается и ничего не создает; его слова лукавы; в решениях он остается всегда «себе на уме»; в делах он ненадежен и верности он не знает. Поэтому он обладает слабым характером и полагаться на него нельзя. Первый и основной закон «ин-дивидуальности» есть закон *внутренней неделимости*; этого закона он не соблюдает; им он не живет. Поэтому он *всегда неискренен*, даже наедине с самим собою, когда он про себя размышляет и принимает «одиокие» решения. Ибо у него нет внутреннего единства; а без него не бывает и искренности.

Человек *искренен* тогда, когда он носит в себе *центральный огонь*, от которого разливается *свет* и из которого летят во все стороны *искры*.

У древних греков и римлян был в каждом доме священный алтарь, на котором всегда лежали нагове тлеющие угли. Этот алтарь назывался по-гречески «Естiа» (Гестия), а по-латыни «Vesta» (Веста) и почитался священным центром жилища...

Древние пифагорийцы утверждали, что в мире есть великий огненный центр («Кйѵхзов», «Мйоов»), первозданное священное огнилице, которое является творческим источником света, тепла и порядка. Филолай обозначал этот центр словом «Естiа»: это было сразу – «Дом Божий», и в то же время «связующая сила вещей» и творческий источник природного порядка. Из этого источника проистекал жизненный ритм мира...

И вот каждый из нас призван утвердить в себе такую светящую и правящую *огненную Купину* и жить в ее свете и законе. Тот, кто живет из нее, становится искренним. Его Гестия светит ему во всех делах, а он сам излучает в жизнь *ее* лучи. Она дарит ему тепло и энергию; и его сердце становится Купиной и светит другим людям. Вся его жизнь получает направление и управление из этой Купины; от этого ритм жизни становится единым и центральным, а его собственная воля становится верной и сильной. Тогда все искры его любви, его мысли, его поступков вылетают из этого огнилица; купина его сердца посылает ему *свои* слова, и они становятся *его* словами; искренними становятся его решения, его воззрения, его письма и написанные им книги; и самая душа его оказывается ясною, светлою, определенной и искреннею.

Искренность есть *мужество*; и человек становится мужественным. Искренность есть *вернопреданность*; и человек становится верным поборником Божьего дела. Искренность есть *прозрачность* горящей души; и человек становится огненным и прозрачным. А это значит, что он счастливо разрешил *задачу отрешенности* и преуспел в *искусстве одиночества*...

Такие люди призваны совершать важнейшее в жизни, в культуре и в истории: их дело молитва и освящение, созерцание и познание, воспитание и духовное окормление, академия и художество, правление и суд. Им дается в жизни истинная дружба, которая возникает из творческого обмена искрами. Такие люди суть столпы церкви, семьи и государства: ибо все человеческие союзы вырождаются при отсутствии духовной искренности, от лжи и обмана, от лукавства и предательства, и только искренность делает их жизнеспособными и сильными.

Церковь, построенная на неискренности и неискренно ведомая – искажает и извращает дело религии; она потеряла дверь в Царство Божие, она водворила фальшь на святом месте, она есть *мнимая* церковь. *Семья*, построенная на притворстве и обмане, есть пустая иллюзия: она создает пролганное общение и мнимое единение; у нее нет духовной державы, и она обречена на распадение. Пролганное *государство*, построенное на насилии, страхе и притворстве есть организованная порочность: оно подрывает и угашает всякое взаимное доверие; оно извращает и обессиливает личную совесть и честь; оно лишает человеческую жизнь ее божественного смысла и ее творческой свободы.

Но в человеческой жизни есть *благодатная* и *благодатная* сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добивается. Это есть сила *живого сердца*. Сердце может любить только искренно; неискренняя любовь совсем не любовь. Сердце может петь только искренно; фальшивое пение фальшивого сердца не звучит перед Богом. Сердце может *молиться* только искренно; молитва, не восходящая из сердечной купины, есть предчувствие несостоявшейся молитвы или же простое притворство. Неискренняя *вера* есть самообман и симуляция. Неискреннее *искусство* – фальшиво и нехудожественно. Неискренняя *добродетель* есть противное лицемерие.

Великая беда современного человека состоит в том, что он *утратил искренность сердца*. Спасение его в том, чтобы восстановить ее и из нее начать новую культуру. Все, что задерживает этот процесс исцеления и возрождения – вредоносно. И вреднее всего,

пагубнее всего то, что подавляет и ослабляет, расшатывает и подрывает искренность человеческого сердца.

Что может начать и создать человек с заглушенным сердцем, если все великое и глубокое, все Божественное в жизни требует искренности и любви?.. Из лицемерия и лжи никогда еще не возникало ничего великого и прочного. Вот почему искренность есть дар Бога и сокровище человека. И если современное человечество хочет выздороветь и возродиться, то оно должно вернуть себе силу и радость искреннего сердца.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

Есть только одно истинное «счастье» на земле – *пение человеческого сердца*. Если оно поет, то у человека есть почти все; *почти*, потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло.

Сердце поет, когда оно любит; оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человек постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным «счастьем», которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным: тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась *новая жизнь* и что человек приобщился *новому бытию*.

Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то был в самом деле не более как отсвет его, или слабое предчувствие; а у многих и того менее: лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности... Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина – чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край; оно начинает петь, и когда ему это удастся, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удастся только одаренному меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет; она становится алчной и исключительной, требовательной и слепой, завистливой и ревнивой. А поющее сердце, напротив, бывает – благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически; а настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении, здесь она разряжается и разочаровывается, опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто, влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли – и не понимает своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, проходяще и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира.

Сердце поет не от влюбленности, а от любви; и пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к *божественным содержаниям* жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли.

Тогда начинается настоящее пение; оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется

и ноет; и светит из той глубины, где человечески-личное срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости: ибо Божии лучи пронизывают человека, а человек становится Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает любовь из Божиих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь Бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст...

Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячею силою надо будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось в богозданные пространства бытия со священной и ненасытною жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое останется всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь; оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу.

Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток, «нектар», и некое божественное кушанье, «амброзия». И вот, в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей... И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь.

Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих «искр живого совершенства», как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья искра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа – в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве, – ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, Его благодати, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, полное предчувствия, блаженного созерцания и безмолвного, благодатного трепета, есть начало нового бытия и проявления новой жизни...

Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки, – порхали и кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце; и я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости...

В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудесный мир света и тени, живого общения и радостного роста; и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь...

Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороху его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине... И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем...

Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина; я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений; я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви, – и сердце мое раскрылось в радости и благодарности...

На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине вошел наш корабль в Коринфский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор; крутые берега канала высились, как суровая стража; благоговейно молчали и люди и птицы, ожидая и надеясь... И вдруг берега впереди расступились, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря, – и солнце и вода встретили

нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением?..

У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе?

Каждый из нас чувствует наворачивающуюся слезу в окое своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви.

Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуетя голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира.

Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу.

Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню, когда мы сквозь мелодию земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов.

Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира, когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем вселенную как гармоническую це-локупность, когда человеческая история являет нам сокровенную тайну Провидения и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения, когда мы присутствуем при победе великого и правого дела...

Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы...

А если нам сверх дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо поистине, мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает: ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох... Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те «великие» события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность...

Нам надо увидеть, и признать, и убедиться в том, что *именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира*; и что человек с поющим сердцем есть остров Божий – Его маяк, Его посредник.

Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца: ибо оно уже прижизненно вырастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божиим.

[1] Ничего нет в интеллекте, чего не было прежде в ощущении (лат.).

[2] Кроме самого интеллекта (лат.).

[3] Самоирония (лат.).

[4] Волей-неволей (лат.).

[5] Способ духовного бытия (лат.).

[6] Вначале быть, потом действовать, после этого философствовать (лат.).

[7] Природа творящая (лат.). У Спинозы – природа, мыслимая как живое единство,

Бог.

[8] Переход в другой род (греч.).

[9] С соответствующими изменениями (лат.).

[10] Тем самым (лат.).

[11] Путь, дорога (греч.).

[12] Путь или способ исследования, способ изложения (греч.).

[13] Слова Грушницкого. «Герой нашего времени».

[14] Ср. рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда».

[15] Der Qualit#228;l quillt aus der Qual.

[16] Надо различать – «*одинокество*» и «*одинокость*». *Одинокество* человека состоит в том, что у него мало связей с другими людьми, мало общения, мало взаимного понимания, симпатии, дружбы, любви. Этому противостоит – *не-одинокество*, т. е. богатое и разнообразное общение и обилие творческих связей с другими. Все это осуществляется в пределах общей всем людям *одинокости*, потому что и скудость связей и обилие общения устанавливается и протекает в пределах неизбежной для человека основной для его жизни *одинокости*. *Одинокость* есть способ бытия, присущий и уединенно живущему, непонятому человеку, и успешно общающемуся, многообразно связанному индивидууму. *Все люди* одиноки – одинокостью. Но одни заполняют свою *одинокость* щедрым и цветущим общением и потому менее замечают ее и менее страдают от нее. А другие предаются *одинокеству* в пределах своей *одинокости*, и именно таким людям дано изведать до дна ее естество, ее духовное значение и ее законы.